

ДНИ КРАКЕНА

(Главы из неоконченной повести)

Глава первая

На третьем курсе в университете Юлю Марецкую выбрали комсоргом факультета и затем переизбирали еще два раза. Она не отказывалась, так как декан и члены партбюро постоянно твердили ей, будто она прирожденный комсомольский вожак. Никаким вожаком она не была, но значило это для нее очень много. Она училась старательно, но язык давался ей плохо, а в качестве комсорга она быстро избавилась от чувства неполноценности, которое всегда испытывала рядом с более способными ребятами. Разумеется, никто не относился к ней свысока, ее и вообще-то не очень замечали, зато она ощущала себя как рыба в воде. Ей ничего не стоило разобраться в каком-нибудь мелком конфликте или собрать товарищей на политзанятия, потому что она была девушкой искренней и благожелательной. Правда, вся эта деятельность имела для нее и плохую сторону. Она так увлеклась общественными обязанностями, что оставила далеко в тылу все личные проблемы, с которыми любая студентка способна справиться в двадцатилетнем нежном возрасте. Она так и не сумела отделаться от некоторых ублюдочных принципов, которые ей внушили еще в школе.

На четвертом курсе у нее случился роман с одним молодым преподавателем, и она по ночам плакала в подушку, воображая себя разрушительницей чужой семьи, но преподаватель вскоре отступился и вернулся к своей жене, устав бороться с нескгибаемыми Юлиными принципами. Как-то я встретил этого преподавателя. Он хорошо помнил Юлю и очень интересовался, что с нею потом случилось. Вообще это довольно странно, потому что мало кто из однокурсников помнил ее, да и те, кто помнил, путали ее фамилию. Вообще-то она была милая девушка, даже хорошенькая, хотя все находили, что ей следует больше заботиться о внешности. На последнем семестре она была уже членом факультетского партбюро и стала носить очки, но перед госэкзаменами, кажется, сняла их.

Вскоре после университета она поступила в издательство “Иностранная литература” и тут же вышла замуж за старшего лейтенанта, только что уволенного в запас, веселого и развязного субъекта. У него не было гражданской специальности, поэтому она решила, что должна поставить его на ноги. У нее была комната в старом доме в районе Арбата, и первое время бывший старший лейтенант то ли с непривычки, то ли из чувства благодарности сдерживался. Но потом он снова стал пить, связался с какими-то проходимцами, крал у жены деньги и даже пытался ее колотить. Юля из кожи вон лезла, чтобы перевоспитать его., Она ела и спала с книгами Макаренко, приводила домой сослуживцев, которые рассказывали, как славно работать в коллективе и любить свою работу. Неожиданно она узнала, что у него есть любовница, и прогнала его. К счастью, детей у них не получилось, но вся эта история крайне болезненно подействовала на ее самолюбие. Во-первых, ей было очень стыдно перед сослуживцами, хотя они жалели и всячески старались ободрить ее. И к тому же она сообразила, что не любит и никогда не любила мужа, а потому во всем виновата сама. Она поняла, что у нее с ним с самого начала не было никаких шансов на успех, поскольку собственная комната и довольно высокий оклад независимо от ее женского обаяния сами по себе представляли соблазн для бездомного бездельника. Она прямо-таки извелась, обвиняя себя в черствости и себялюбии, и долго еще снабжала бывшего мужа деньгами, когда он являлся к ней в подпитии с мольбами и упреками. Бедняжка успокоилась только через несколько месяцев,

но из “Иностранной литературы” все-таки ушла и поступила к нам в редакцию современной прозы.

Работала она добросовестно и умело и нисколько не робела перед начальством, поэтому к ней так и льнули молоденькие девушки из корректорской и производственного отдела - она беззаветно и со студенческой пылкостью защищала их от раздраженных заведующих. Вскоре ее выдвинули в местком вместо старушки, ушедшей на пенсию, а затем она была выбрана в партийное бюро, хотя прошла большинством всего в два голоса. Это последнее обстоятельство ее обидело и в то же время прибавило ей рвения, так что на нее свалили всю текущую работу. В партийном бюро такие работники просто необходимы, и стоило ей однажды надолго заболеть, как с треском провалилось множество мелких мероприятий.

Мне она не нравилась еще в университете, и я сделал вид, что совсем не помню ее, когда она подошла ко мне в издательстве. Она меня раздражала. Есть люди с каким-то редкостным, книжным сочетанием необыкновенной душевной доброты и совершенно твердокаменных заблуждений. Это те самые, которые любят обиженно говорить: “Чем больше делаешь добра, тем хуже к тебе относятся”. Мне приходилось сталкиваться с ними в армии - это были ефрейторы и сержанты из сибиряков и украинцев. Я никогда не сомневался, что в Юле главное - большое чутье к чужому несчастью и что она готова сеять добро любой ценой. Но переносить ее даже в небольших дозах очень трудно, может быть потому, что она никак не способна понять, что люди вокруг не добрые и не злые, что каждый человек очень сложен и может очень сильно отличаться от нее. Она навязывает тебе свое хорошее отношение, выстаивает за тебя очереди в буфете, мчится после работы за город за книжкой, которую тебе захотелось прочесть, но посидеть в ресторане и просто потреться в перерыв ты предпочитаешь с Костей Синенко, который не постесняется забрать у тебя последние два рубля, с легким сердцем утерять рукопись, взятую тобой под честное слово в соседней редакции, или в самое горячее время станет проситься во внеочередной отпуск.

Все же в конце концов мы с Юлей стали друзьями. Мы встретились на дне рождения у общего знакомого, поговорили в углу на диване на общие темы, потанцевали, и она решила, что я хороший человек. “Я к тебе давно присматриваюсь, и мне очень хотелось сойтись с тобой поближе”, - заявила она с таким видом, словно я должен был немедленно проникнуться благодарностью к ней за это признание. Затем, не сходя с места, она чистосердечно рассказала мне все о себе. Это было трогательно, тем более что у меня в тот вечер было отличное настроение, а она была очень хороша - румяная от вина, в красивом платье, закрытом до шеи, и с голыми руками. Я проводил ведомой. Мы долго прохаживались перед ее подъездом, потом долго стояли у подъезда, и она все говорила, доверчиво заглядывая мне в лицо. Я уверен, что если бы я попытался тогда поцеловать ее, она бы страшно удивилась и обиделась.

Она здорово привязалась ко мне и стала часто бывать в нашей редакции. Раза два она заходила даже ко мне домой, но я старался не поощрять ее. Возможно, она влюбилась, а скорее всего, просто чувствовала себя одинокой. Ведь я был ее единственным другом в издательстве, если не считать девчонок из корректорской. А может быть потому, что я только слушал ее и никогда не рассказывал сам. Это вообще очень импонирует людям. Они видят в этом признак участия. Или еще потому, что я обедал в кафе, ужинал булкой с колбасой, и ей хотелось поставить меня на ноги. Как-то она предложила мне познакомиться с одной приятельницей из “Иностранной литературы”. Не помню уже, почему знакомство не состоялось. Впрочем, говорили мы главным образом о делах, и мне иногда думается, что для себя она оправдывала эту дружбу необходимостью живой связи

с массажами. Все-таки она очень меня раздражала, потому что я все время был чем-то обязан ей. Например, она научила меня играть в бадминтон.

В тот день, когда привезли Кракена, она зашла после перерыва поговорить о моих отношениях с Майским, и я по-настоящему разозлился на нее. Мы все трое лежали животами на подоконнике и смотрели, как внизу во дворе ворочается “маз” с громоздким прицепом-цистерной. Вокруг “маза”, взволнованно размахивая руками, бегали беспозвоночники и пронзительными голосами подавали водителю советы. Беспозвоночками мы называли наших соседей, сотрудников Института беспозвоночных, да они и сами себя так называли. Костя пригляделся и сказал, что это беспозвоночкам привезли спирт, а Тимофей Евсеевич стал рассказывать, как бы он поступил на месте водителя. Тут подошла Юля, поздоровалась и сказала.

- Андрюша, ты, я вижу, не очень занят, мне надо поговорить с тобой.

Мы вышли в коридор и сели у стола, где обычно сидят с авторами, чтобы не мешать в редакции.

Она опустила ресницы, разгладила юбку на коленях, скорбно взглянула на меня и покраснела. Она не знала, с чего начать. Или притворялась, что не знает, - для нее это всегда было одно и то же. Я сразу понял, что она собирается резать мне в глаза правду-матку. Не люблю, когда мне режут эту самую правду-матку, но за удовольствие иметь такого друга приходилось время от времени платить. Я полез в карман за сигаретами, хотя у меня и без того было горько во рту от курения, и сказал:

- Давай, Юленька, рассказывай, что там еще стряслось. Синенко опять целовал Марину в рабочее время? Нет? Неужели Тимофей Евсеевич? Он старик, но еще может... Тоже нет? В чем же дело? Мне не к лицу этот галстук? Говори прямо и откровенно. Без околичностей и всяких там фиглей-миглей.

Пока я говорил все это, она с трагическим достоинством покачивала головой. Глаза ее были прикрыты. Затем она открыла глаза и сказала:

- Я не шучу, Андрюша. Вопрос очень серьезный. Боюсь, что тебе это будет не совсем приятно, но...

Последовала значительная пауза, и я поспешил заверить:

- Я слушаю тебя, Юленька.

- Что у тебя за отношения с Майским? - спросила она.

Я удивился.

- С Петей Майским? Хорошие отношения.

- Вы друзья?

- Не то чтобы друзья... А что случилось? Он попал в милицию? Это он может.

Она сурово сказала:

- Ты пьянствуешь с ним в ресторанах.

Это было сказано так убежденно и взволнованно, что я растерялся. Так мог бы сказать следователь, загнавший преступника в ловушку.

- Почему же именно пьянствую? - спросил я - В ресторанах не обязательно пьянствовать, Юленька. Там разрешают и просто беседовать.

- Не в этом дело. Ты понимаешь, что я хочу сказать.

- Не понимаю, - сказал я искренне.

- Ты заведующий отделом, коммунист. Майский твой автор. Ты не должен ходить с ним по ресторанам.

- Послушай, Юля, - сказал я, сдерживаясь. - Я давно взрослый. Я сам знаю, с кем мне ходить.

Тогда она наклонилась ко мне и проговорила вполголоса:

- Ты не имеешь права. Как твой товарищ и как член партбюро я предупреждаю тебя, это выглядит некрасиво. Ты включил Майского в план редподготовки?

- Ладно, - сказал я и встал. - Довольно с меня. Да, я включил Майского в план редподготовки. По этому поводу мы устроили в ресторане "Метрополь" очередную попойку, и там Майский выдал мне нотариальную доверенность на половину будущего гонорара. А затем мы с ним отправились в Сандуновские бани, и его рука мыла мою руку. Я признаю свою вину и готов предстать.

Это было грубо, потому что Юля, конечно, затеяла этот разговор из самых лучших побуждений. Она сидела, как прибитая. Ноя разозлился. Какая-то полицейская логика: не потому вне подозрений, что честный, а потому честный, что вне подозрений. Мне такая логика никогда не нравилась, и в свое время я от нее натерпелся. Я повернулся и пошел прочь. Юля догнала меня и схватила за рукав.

- Андрюша, - сказала она жалобно, - пойми меня правильно. Я вовсе не хотела тебя обидеть. Ты чистый и честный человек, Андрюша, я тебе во всем верю... Но зачем тебе всякие ненужные разговоры, сплетни? Я не хочу, ну просто не желаю, чтобы кому-нибудь пришло такое в голову. Ты только пойми меня...

По коридору шли люди, и она замолчала.

- Я понял тебя, - сказали. - Прости, пожалуйста, мне пора.

Она не отпустила рукав.

- Не сердись, - сказала она.

- Я не сержусь.

- Не сердись. Я просто должна была тебе это сказать. Я долго думала, а сегодня вдруг решила, что больше молчать не могу. Ты не сердишься?

- Нет, - сказал я. Я действительно больше не сердился. На нее было смешно обижаться. Больше всего мне хотелось бы положить ее на колени и отшлепать по мягкому. Потом это желание тоже прошло, и я засмеялся.

- Ладно, - сказал я. - Все в порядке.

Она отпустила мой рукав и несмело улыбнулась. Когда я вернулся в редакцию, Костя и Тимофей Евсеевич все еще лежали на подоконнике. Я разогнал их за рабочие столы и сел разбирать корреспонденцию. Одно из писем было из Иностранной комиссии ССП. Малинина просила меня явиться в будущее воскресенье на встречу с Цутому Хида в “Пекин” к восьми часам вечера. Конечно, можно было попытаться увильнуть от этой встречи, но мне не хотелось подводить Малинину. Я позвонил ей, а затем меня вызвали к главному редактору.

Глава вторая

Беседа с главным редактором затянулась, и я освободился только около семи. Я устал и хотел есть, дома меня ожидал “Призрак с хризантемой”, завтра предстояла встреча с Кларой, но я все же обратил внимание на необычное оживление возле зимнего бассейна. Оттуда тянуло резким кислым запахом. Несколько рабочих в спецовках закладывали кирпичом обширный провал в стене, им помогали взволнованные и нервные беспозвоночники. У рабочих, как мне показалось, тоже был какой-то озадаченный и недоверчивый вид, и они очень торопились. Но я не стал подходить, так как решил, что бассейн просто-напросто опять ремонтируют.

Не знаю, когда и для чего построили посередине двора это грубое приземистое сооружение из потрескавшегося бетона. Судя по бледным надписям со стрелками, во время войны оно служило убежищем, затем в нем хранили уголь, а потом наши спортсмены объединились со спортсменами из Института беспозвоночных и оборудовали в нем приличный закрытый бассейн. Не бог весть какой он получился, глубиной всего полтора метра и площадью пятнадцать на двадцать, но ребята построили его сами и гордились кафелем, лампами дневного света и прочими удобствами. Летом в нем просто купались, а зимой занимались пловцы и команды ватерполистов профсоюза работников культуры.

Погода была прекрасная, и я побрел домой пешком, выбирая самые тихие переулки. По дороге я вспомнил, что у меня кончился кофе, зашел в магазин и купил пачку за сорок четыре копейки, а заодно двести граммов буженины и масла. Можешь за меня не беспокоиться, друг мой сердечный Юля Марецкая. Кофе и хороший бутерброд с бужениной - это очень хорошо. Это не только хорошо, но и уютно. Ты себе представить не можешь, как уютно выкушать часа в два ночи большую фамильную чашку кофе, и никто не уговаривает тебя сонным голосом, что пора спать и что надо спать, когда спят все порядочные люди, и ты можешь сидеть и работать и думать, сколько угодно. Не надо обо мне беспокоиться, дорогая Юленька, даже когда я сижу в ресторане и даже с беспутным Петькой Майским, и возвращаюсь домой под утро. А если вы все-таки будете слишком беспокоиться, то смотрите, я разозлюсь и сделаю вам предложение, и вы по глупости и природной деликатности согласитесь стать моей женой, и вот тогда-то вы узнаете, что такое настоящее беспокойство, потому что у меня есть большой опыт по причинению близким беспокойства, а у вас нет практически никакого опыта, и поскольку я вас все-таки не люблю, а вы склонны видеть в семейной жизни некое продолжение

общественного долга, вам придется очень, очень плохо. Так что не сердите меня, милая, останемся лучше друзьями. Я готов сколько угодно терпеть тебя в качестве члена партбюро и даже в качестве друга, но если ты воображаешь, что заботу обо мне можно простирасть сколь угодно далеко, то прах с тобой, погибай. Вряд ли ты перенесешь еще одно разочарование.

Дома я принял душ, поужинал и стал готовиться к очередной схватке к Баньютэем. Я веду настоящую войну, по всем правилам и с высокой целью. Я наступаю, Баньютэй жестоко и умело обороняется. Это сильный противник, таких у меня еще не было. Он сопротивляется каждой строчкой, он подсовывает мне странные реалии, которых не найти ни в одном словаре, он сбивает меня с толку жаргонными оборотами и провинциальными словечками, он заманивает меня в ловушки поступками своих героев, на первый взгляд вполне естественными, но имеющими, как это неизменно случается, совершенно чуждый мне смысл. Настоящая война, сладкая каторга, которая выматывает так, что перестаешь гордиться собой и продолжаешь воевать из тупого упрямства.

Война ведется по вечерам и по ночам, и каждый раз перед боем я некоторое время стою перед столом, держась за спинку старого скрипучею кресла, и выжидаю. Как будто все готово. Серо-зеленая “комбина” заправлена чистым листком бумаги. Справа, так, чтобы было удобно дотянуться, разложены рыхлые от употребления тома Кацуматы, “Кодзиэн” и Роз-Иннеса. Слева раскрыта изящная книжка Баньютэя. Пепельница пуста, папиросница полна, на всем свободном пространстве разбросаны коробки спичек. Остается сесть, положить пальцы на клавиши и посмотреть на текст. Но это невозможно сделать сразу. Малотого, этонельзяде-лать сразу.

Мешает рефлекс, выработавшийся за долгие годы работы. Этот рефлекс предупреждает, что после первого удара клавиши я, свободный человек в свободной стране, на несколько часов стану бесправным галерником. Когда я стою перед письменным столом, что-то во мне с ужасом протестует, жалобно и жалко требует не начинать. Совсем не начинать, а пойти, например, на диван и выспаться. Ну, раз уж это так необходимо, то начать через часок. Через десять минут. А пока все-таки лечь на диван и покурить, разглядывая потолок. Не знаю, как кто, а я люблю свои рефлексы. Особенно этот. Он ничему не мешает, он слаб и жалок, и, отдавая ему дань паузой, я ощущаю себя чуть ли не собственным благодетелем. При этом я хитрю. Я только делаю вид, что просто медлю. На самом деле я настраиваю себя на противника. Это не так просто - каждый вечер перетаскиваться из Москвы второй половины двадцатого века в Токио, вернее, в Эдо первой половины восемнадцатого. Забыть о метро и спутниках и провалиться в мир бидзэнских мечей и ёсиварских красавиц. Вползти в шкуру Баньютэя, увидеть его мир его глазами, разобраться в его эмоциях и постигнуть его логику.

Вот он идет по узкой улочке, бесцеремонно толкаясь и отпуская незатейливые шуточки, долговязый костлявый человек в стареньком кимоно с подоткнутыми лапами. С первого взгляда в нем узнаешь “эдокко”, настоящего коренного эдосца, во всяком случае - с первого слова. Его настоящее имя, конечно, не Баньютэй, но все зовут его так, потому что так он подписывает свои книжки в пестрых обложках и с потешными рисунками. Эти книжки взахлеб читает вся столица, да что там. вся Япония от Сэндая до Сацумы, грамотные читают неграмотным, и все хохочут, начиная от грозного диктатора и кончая последним эта, уборщиком падали. Всюду в столице Баньютэй как дома, тем более что собственного дома у него нет. Он бесцеремонно вмешивается в чинную беседу двух купцов из провинции и передразнивает их медлительный выговор так, что толпа вокруг ревет от восторга. Он закатывает оплеуху слуге какого-то самурая, который пытается преградить ему дорогу своим деревянным мечом, и тут же отвешивает обомлевшему от

такой наглости самураю почтительно-шутовской поклон Он показывает фигу - так в Эдо приглашают девок - важной дебелой даме в паланкине и несколько минут наслаждается ее визгливыми ругательствами. Он весел сегодня, он хорошо продал свою очередную книгу “Призрак с хризантемой”, и мир нехитрых удовольствий снова открыт для него. Скорее всего, он идет сейчас в веселые кварталы, где с друзьями и проститутками в два дня спустит всю выручку, а затем, если повезет, заставит еще неделю-другую развлекать себя какого-нибудь загулявшего купеческого сынка.

Я давно понял, какой веселый нетерпеливый талант носит в себе этот пройдоха и распутник. Талант гениального наблюдателя. Его сознание мгновенно отмечает мелочи, мимо которых равнодушна проходят другие люди, по взглядам, по позе, по голосу он отыскивает смешное в человеке, усилием; воображения восстанавливает прошлое этого человека, мысленно ставит этого человека в необычайные обстоятельства - и вот уже готова небольшая новелла, которая, возможно, войдет в его следующую книгу...

Я обошел кресло, сел и придвинулся к столу. Мой дорогой рефлекс, воображающий себя, наверное, моим спасителем, больше не сопротивлялся. Я даже представил себе, как он огорченно махнул рукой и улегся дремать где-то в теплых глубинах подсознания. Добрый вечер, Баньютэй-сан. Глава двадцать седьмая. “Пришел все-таки, сволочь тоскливая, - сказал Тедзаэмон. - И что ты под ногами путаешься?..” Цумаранээ яцу, отлично сказано Редактор для этой книги нужен старше шестнадцати. Пожалуй, самое трудное у Баньютэя - это диалоги, из которых процентов на семьдесят состоят все его книги. Очень живописные диалоги, надо признать, и эдосский бытописатель не постеснялся передать их во всем сыром уличном великолепии, с грамматикой, словами и оборотами, давно канувшими в вечность. И реалии, реалии... У Кацуматы и в “Кодзиэне” есть, кажется, все, и реактор на медленных нейтронах, и рецессивная аллель, но нет никаких следов такого, например, слова, как “накаго”. Что это? Меч в ножнах или стержень рюкюати?

Я проработал два часа. Стемнело, я зажег свет и закурил. За два часа едва одна страница. И это еще ничего, потому что в начале войны с Баньютэем бывали дни, когда страница текста обходилась мне в три и даже в четыре часа. Это не “Один в пустоте” бывшего солдата второго разряда бывшей Квантунской армии Цутому Хида, когда перевод сам лился в русские строчки, и я переводил столько, сколько успевал печатать. В воскресенье мне встречаться с Хида. Потерянный вечер. Но он хороший писатель, и, может быть, будет интересно. Надо подарить ему перевод. И какой-нибудь сувенир. Придется поломать голову над сувениром. Не буду ломать. Куплю матрешку или фигурку из мамонтовой кости. Или бутылку юбилейной водки в оригинальной упаковке, кажется, это так называется. Надо будет завтра сходить в магазин русских вин. Там я покупал шампанское для Клары... Хотя нет, тогда этого магазина еще не было. Клара была в узкой короткой юбке, и на вечере все мужчины глазели на ее ноги. Красивые ноги, надо заметить. Ох, завтра мне встречаться с Klarой. Завтра- с бывшей женой Klarой, послезавтра - с бывшим солдатом второго разряда Цутому Хида. А сегодня, завтра, послезавтра и еще много-много дней подряд мне встречаться с веселым Баньютэем.

Вот вопрос: чего ради я связался с этим средневековым шутником? Ведь мне предлагали другую работу, куда более выгодную. Пухлую современную вещь на двадцать листов, работать можно почти без словаря. Закончил бы в полгода, расплатился с долгами, съездил бы в Карловы Вары... Правда, вещь эта скучна. До синих пятен скучна. Что-то из жизни наираспроебнейшего крестьянства, страдающего в лапах ростовщиков. Она сказала и заплакала. Он сказал и заплакал. И сопля дрожала на кончике его носа. Я не люблю таких вещей. От “Поликушки” меня тошнит. Даже от чеховских “Мужиков” меня тошнит. Баньютэй - другое дело. И сюжет незамысловат до глупости, да и взят он у

какого-то китайца, чуть не у Цюй-ю Цзун-цзи, а как великолепно сделано! На мой взгляд “Призрак с хризантемой” сделал бы честь самому Акутагаве, который два века спустя вот так же использовал наивные сюжетики из “Кондзяку”. Ладно. Кривошейей подождет, а в Карловых Варах будет весело и без меня. Я - чернорабочий мировой культуры.

Я перевел еще одну страницу, поставил завариваться кофе и постоял у окна, напрягая затекшие мускулы ног. Было уже совсем темно, похолодало, над крышами повисла распухшая красная луна. Внизу шуршали шины, стучали каблуки, кто-то визгливо засмеялся и сразу замолк. В окне напротив толстая женщина в сарафане укладывала спать маленькую девочку, тянула через голову платице и что-то говорила ей, ласково улыбаясь. Я подумал, что Юля сейчас тоже укладывается спать или уже лежит в постели и огорченно вспоминает, как она неделикатно со мной разговаривала. Тут вскипел кофе, и я вернулся к столу.

Интересно, почему человечество все время возвращается к великим вехам? Почему считается, что мы и сейчас - сейчас в особенности! - не можем жить без Шекспира, Сервантеса, Ду Фу, Мурасаки, Гомера? Может быть, потому, что это вещественные доказательства человеческого гения? Смотрите, мол, вы, антропоиды двадцатого века, на что были способны ваши предки. Ведь говоря по правде, Шекспира читать довольно скучно. А Гомера я вообще так и не одолел. И если бы речь шла только обо мне, я бы, конечно, помалкивал и тихонько краснел бы в тряпочку. Но и среди моих знакомых только двое способны по своей воле читать Шекспира и только один утверждает, что прочел “Илиаду”. С другой стороны для авторитетных и глубоко мною уважаемых людей Шекспир вовсе не скучен. Он является для них неисчерпаемой сокровищницей новых идей и ощущений. Они вдохновенно разглагольствуют об огромной роли, о выразителях интересов, о гигантских трагедиях и прочем и с презрительным терпением стараются растолковать все это нам, непонимающим. А что если они врут? Что если сами эти старые песочницы втихомолку с наслаждением читают растрепанные книжки Буссенара? Попробуй, проверь.

Впрочем, проверить нетрудно. Взять, например, Баньютэя. Русскому литературоведению японская литература известна плохо, а Баньютэй и вообще неизвестен. Понести рукопись Шкловскому и попросить: “Прочитайте, пожалуйста, и дайте свое авторитетное заключение. Писатель этот не бог весть что, в японском литературоведении о нем ничего не говорится, но мне кажется...” и так далее. Это был бы интересный опыт. Не станет же Шкловский наводить справки...

Я отхлебнул кофе и вернулся к переводу. Всего в этот вечер я перевел пять страниц и лег спать в половине третьего.

Глава третья

Я прождал всего минут пять, поэтому понял, что нужен Кларе по важному делу. Она была в белом платье и белых босоножках, свежая, словно только что из нарзанной ванны, стремительная, как мальчишка. Она подошла, улыбаясь, протянула ладонью вниз левую руку в белой ажурной перчатке и сказала:

- Доброе утро, милый.

- Здравствуй, дорогая, - сказал я.

- Очень мило, что ты пришел.
- Напротив, очень мило, что ты пожелала встретиться.
- Нет, правда, я очень рада тебя видеть.
- Я тоже в восторге.
- Ты неважно выглядишь, милый. Дела замучили?
- Да. Пропать дел.
- Но ты же знаешь, тебе нельзя утомляться.
- Что поделаешь... Зато ты выглядишь прекрасно.
- Нет, серьезно. Тебе не следует перегружать себя работой. Особенно в такую жару.

Я всегда ненавидел этот small talk, но Кларе он был необходим. В старое доброе время она как-то призналась мне, что для нее это нечто вроде разведки боем. Она-то, наверное, не помнила, что сказала мне об этом. Я сказал:

- Да, в последнее время стоит ужасная жара. Сегодня будет более жарко, чем вчера. А завтра будет еще жарче. Итак?

Она глядела на меня, безмятежно улыбаясь.

- Ты прав, - сказала она. - Времени мало. Я вызвала тебя, чтобы сообщить, что я даю согласие на развод.
- Что ж, - сказал я, - это хорошо.
- Ты не рад?
- Да нет, мне все равно.
- Три года назад ты говорил иначе.
- Три года назад! - Я даже рассмеялся. - Три года назад было очень давно. Целых три года. Теперь я привык.

Я видел, что она разочарована, и поспешно добавил:

- Нет, ты не думай, я с удовольствием. Действительно, сколько это может тянуться?
- Да, это тянется слишком долго. Ну, так или иначе, ты можешь подавать на развод и обрести желанную свободу.
- Наконец, - сказал я.
- Вот именно. Наконец. Почему ты улыбаешься?

- Это я от счастья. Ослепительные перспективы. Мы помолчали.

- Ты все еще в издательстве? - спросила она.

- Да.

- Недавно я видела где-то какую-то книжку в твоём переводе.

- Да, я перевожу. Время от времени. Все еще перевожу.

Мы опять помолчали. Я поглядел на часы.

- Между прочим, он прекрасный человек, - сказала вдруг она тихо. - Ты не должен был обращаться с ним так... грубо.

- Но я тогда не знал, что он прекрасный человек, - возразил я.

- Он очень страдал.

- Я тоже. Я вывихнул пальцы и получил выговор по партийной линии.

- До свидания, - сказала она.

- До свидания, Клара, - вежливо сказал я. - Очень рад был повидать тебя. Объявление я дам в ближайшее время.

Она ушла, не подав руки и не оглядываясь. Времени было в обрез, и я взял такси. Утро было ясное и жаркое, блестели на солнце политые улицы, люди спешили на работу и в магазины, стараясь держаться в тени домов и деревьев. У меня горело под веками, и сами собой закрывались глаза. Больше всего спать хочется утром, к полудню это проходит. Я подумал, что мог бы поспать лишний часок, и неожиданно для себя скверно выругался вслух. Шофер изумленно оглянулся.

- Ничего, ничего, - пробормотал я. - Все в порядке.

Когда мы подъехали к издательству, до начала занятий оставалось еще минут десять. Я подошел к автомату выпить стакан воды. Пока я рылся в карманах, ища трехкопеечную монету, возле меня остановился Полухин. Он по-отечески пожал мне локоть и сказал:

- Вот кстати, Андрей Сергеевич! А я вас вчера искал!

Он никогда не здоровался, но на него не обижались. Говорили, что он не здоровается даже с министром. Открывает дверь к нему в кабинет и радостно кричит: "Вот кстати, товарищ министр! Разрешите?"

- Когда? - спросил я.

- Вечером. Во второй половине дня.

- Я сидел у Келлера.

Он подождал, пока я пил воду с грушевым сиропом. Мимо нас в ворота проходили сотрудники и здоровались с ним, и он благосклонно кивал в ответ, сияя отеческой улыбкой.

- Тут такое дело, - сказал он. - Мне позвонили от соседей. Беспозвоночники. Звонил их директор и спросил, нет ли у меня на примете специалиста по японскому языку. Разумеется, Андрей Сергеевич, я сразу вспомнил о вас.

Я покачал головой.

- Спасибо, Борис Михайлович, но я не могу. Очень занят.

- Пустяки, пустяки! Я уверен, это не займет у вас много времени. Они получили из Японии какие-то материалы. Какие-то документы, понимаете? И им хочется узнать, что это такое.

- Пусть обратятся в Институт научной информации. Я не могу.

У него от огорчения обвисли щеки.

- Но я уже обещал им! - сказал он - Мы с вами не можем вот так просто взять и отказаться. Это наши соседи, наконец!

Я промолчал.

- Я вас очень прошу, Андрей Сергеевич. - сказал он. - Я не могу вам приказать в данном случае, я вас очень, очень прошу. Я совершенно уверен, что это не потребует много времени. Мы соседи, у нас множество общих интересов. В конце концов, должны же мы помогать друг другу, разве не так?

- Почему им не обратиться в Институт информации?

- Возможно, им следовало обратиться в Институт информации, не спору. Но, с другой стороны, они имеют полное право рассчитывать на поддержку соседей. Почему бы и нет? Слушайте, Андрей Сергеевич, ну зайдите к ним, посмотрите... Ведь, может быть, вы только посмотрите и сразу им скажете.

Черт с тобой, подумал я устало, черт с вами со всеми.

- Хорошо, - сказал я. - К кому у них там обратиться? И когда?

Он снова воссиял.

- Прямо к директору. В любое время. Лучше всего прямо сейчас.

- Нет, прямо сейчас я не пойду Мне нужно в редакцию.

- Как вам угодно, Андрей Сергеевич¹ Значит, договорились? Ну, я очень, очень рад. Совершенно уверен, что времени это у вас займет немного. В крайнем случае посидите денек-другой дома...

Тут он заметил главбуха, только что появившегося из-за угла, радостно завопил: “Вот кстати, Илья Матвеевич, а вы мне нужны!..” и помчался ему навстречу. Я прошел в ворота. Мне было тошно от всего этого - и от Клары, и от глупых Юлиных претензий, и от самоуверенности Полухина. И от предстоящей встречи с японцем. Мне хотелось только, чтобы меня оставили в покое. Во дворе возле зимнего бассейна опять толклись люди. Они устанавливали на грубых деревянных козлах большой бак, выкрашенный серой краской, и при этом сердито спорили. Газон перед бассейном выглядел так, будто на нем занималась строевой рота новобранцев. И, как вчера вечером, остро воняло какой-то кислотой. Черт с вами со всеми, думал я, ничего я не хочу. Ни бассейнов, ни газонов.

У лифта была очередь, и я поднялся по лестнице, поэтому мне пришлось подождать в коридоре, пока исчезнет тошнота. Ко мне подошел долговязый красавец Виля Смагин.

- Вот тебе и поплавали, - горестно сказал он. - Дай бедному Виле сигаретку. Придется теперь ездить в Химки.

- Почему, бедный Виля? - спросил я.

- Он еще спрашивает! Бассейн-то теперь нам отдадут месяца через два, не раньше...

- А что случилось с бассейном?

Виля недоверчиво посмотрел на меня.

- Ты что, дурачишь несчастного Смагина?

- Нет.

- Ты что, не знаешь, что бассейн у нас отобрали?

- Кто отобрал? Почему? Виля вздохнул.

- Да, - сказал он. - Теперь я вижу. Ты действительно ничего не знаешь. Бассейн у нас отобрали беспозвоночники. В интересах науки, вот что ужасно. Они достали где-то громадную рыбу и запустили ее в наш бассейн. И бедному, несчастному Виле теперь негде тренироваться. Сочувствуешь?

- Да, - сказал я. - Интересно, какая это рыба?

Виля закурил, укоризненно покачал красивой маленькой головой и ушел. Почему-то мне стало весело. Не знаю почему. Я не был ватерполистом, как Виля, а рыба, для которой понадобился целый бассейн, - это было интересно. Видимо, ее и привезли вчера в цистерне-прицепе, и ради нее ломали и снова закладывали стену и ставили сегодня серый бак. Я направился в редакцию.

Все были на местах, и Люся сейчас же доложила, что меня спрашивала Марецкая. Костя Синенко сообщил:

- Она сегодня на редкость эффектна, Андрей Сергеевич. Этакая расклешенная синяя юбка, волосы...

- Придержите язык. Синенко, - холодно сказал я. - Аннотации вы написали?

- Не могу я писать аннотации.
- Хорошо. Я напишу сам.
- Давайте я напишу, - поспешно предложил Тимофей Евсеевич.
- Занимайтесь своим делом, - сказал я. - Вы закончили “Розу и зеркало”?
- Нет.
- Вот и заканчивайте Занимайтесь своим делом. Вам ясно?
- Ясно, Андрей Сергеевич. - пробормотал Тимофей Евсеевич.
- Вот и хорошо. Синенко, давайте сюда материалы по аннотациям.

Костя сердито сказал:

- Я сам.
- Тогда не морочьте мне голову. Фомина, вы выписали неодобрение Глазунову?
- Нет еще, Андрей Сергеевич, сейчас выпишу.
- Поторопитесь.

Я взял из шкафа рукопись Майского и сел у окна. Некоторое время в редакции было тихо. Потом Тимофей Евсеевич робко кашлянул и сказал:

- Простите, Андрей Сергеевич, вчера вечером звонил Верейский...
- Да?
- Он получил рецензию Басова и страшно разозлился.
- Угу.
- Он сказал: “Передайте этому вашему интеллигентному павиану, что он кретин”.
- Ну что ж, - сказал я. - Передайте, пожалуй. Только он будет польщен. Его еще никто не называл интеллигентным. Беда в том, что он у нас единственный человек, который знает суахили.
- А как быть с Верейским?
- Верните ему рукопись, вот и все.

Зазвонил телефон. Люся взяла трубку.

- Вас, Андрей Сергеевич, - сказала она.

Звонил Полухин.

- Вот кстати, Андрей Сергеевич, - заблеял он. - Я только что говорил с директором соседей. Он готов вас принять в любую минуту. Хоть сейчас. Вы сейчас свободны?

- Да, - сказал я. - Я иду.

Я повесил трубку и пошел к двери. В дверях я остановился.

- Я вернусь через час, - сказал я. - Может быть, немного позже. К обеденному перерыву все аннотации по плану следующего года должны быть у меня на столе. Всем ясно?

- Ясно, - сказал Тимофей Евсеевич.

- Синенко?

- Ясно, ясно, - проворчал Костя.

- И неодобрение Глазунову, Люся.

- Я сделаю, Андрей Сергеевич.

Я вышел и притворил дверь.

Глава четвертая

Институт беспозвоночных помещался в глубине двора в старинном двухэтажном особняке. Я там никогда прежде не был, но кое-кого из беспозвоночников знал. Они ходили обедать в наш буфет, а один молодой лаборант, специалист по фиксирующим смесям, как он отрекомендовался, серьезно болел нашей Люсенькой Фоминой и в конце рабочего дня посещал редакцию. Из-за жары я не пошел напрямик через двор, а направился круговой аллеей, прячась в тени дряхлых лип. У зимнего бассейна по-прежнему толпился народ, должно быть, их волновала огромная рыба. По дороге я понял, что кислым запахом несет именно оттуда, и подумал, что рыба, возможно, не совсем свежая. Потом, помнится, я рассеянно удивился, для чего могла понадобиться рыба беспозвоночкам.

В маленьком вестибюле старичок-вахтер словоохотливо объяснил мне, как пройти к директору. Директор сидел за столом в сумрачном от штор кабинете и грустно листал бумаги. Когда я представился, он оживился, отодвинул бумаги и предложил мне присесть. Он был толст, потен и то и дело снимал и протирал платочком очки с толстыми линзами без оправы. При этом он не спускал с меня бледных глаз с красноватыми веками и часто мигал.

- Да, - сказал он, - да! Я все знаю, товарищ Головин. Уважаемый Борис Михайлович мне все рассказал. Что вы очень заняты и прочее. Вы правы, мы могли бы послать эти документы на Балтийскую улицу. При иных обстоятельствах мы бы так, несомненно, и сделали. Несомненно! Но вы знаете, как это у них делается - заказ, оформление и прочее. А нам нужно срочно, очень срочно, немедленно! У нас здесь не океанарий на Вирджиния-Ки, у нас нет соответствующих специалистов-практиков, мы должны действовать по наитию, и у нас голова идет кругом. Многоуважаемый Дмитрий Иванович, академик Щербаков, любезно обещал прислать альбомы и руководства, но на них мало надежды.

Единственное, на что мы можем рассчитывать, это документы. Возможно, они содержат какой-либо ключ. Ключ, намек, что угодно. Если и в них ничего не окажется, тогда я не знаю. Он может сдохнуть, и тогда получится грандиозный скандал и прочее.

Я ничего не понимал, но молчал. В кабинете было прохладно, кресло было на удивление мягкое. Директор положил перед собой объемистый пакет из плотной глянцевой бумаги.

- Я буду исходить из того, что вы согласны помочь нам, товарищ Головин. Вы пришли, следовательно, вы согласны и все прочее. Что нужно прежде всего? Прежде всего необходимо установить, каков должен быть режим. Не думаю, что нужно переводить все подряд. Сначала нужно все просмотреть и найти, выбрать, отчеркнуть то, что может помочь в определении режима. Это дело первостепенной срочности. Не нужно забывать, что он утомлен дорогой, напуган, может быть, даже болен. Вам приходилось когда-либо путешествовать в цистерне? Даже если цистерна выстлана водорослями. Правда, до Ленинграда его везли в довольно сносных условиях. Забортная вода и прочее. Но здесь, у нас, он чувствует себя, вероятно, значительно хуже.

- Простите, - прервал я директора. Мне стало как-то не по себе. - Кто это - он?

- То есть как это - кто? Наш спрут. Мегатойтис.

- Ваш спрут?

- Да, да. Спрут, которого нам на беду подарили и прочее.

Мы уставились друг на друга, потом директор смущенно хихикнул.

- Тысяча извинений, товарищ Головин, - сказал он. - Я совершенно упустил из виду, что вы ничего не знаете. Разумеется, воображаю, с каким изумлением вы слушали меня. Воображаю. Нам здесь ведь кажется, что весь мир осведомлен о наших невзгодах. Чтобы вам сразу все стало понятно, дело обстоит следующим образом. Наш институт получил из Японии уникальнейший экземпляр живого гигантского головоногого, и мы озабочены тем, чтобы создать ему сносные условия существования. Во всяком случае, не допустить, чтобы он погиб. Именно в этом вы можете оказать нам неоценимую помощь.

- Вы держите его в бассейне?

- У нас нет пока иного выхода. Месяца через два будет готов специальный аквариум, а пока придется держать его в бассейне. Вы не представляете, сколько хлопот доставил нам этот подарок. И сколько хлопот он нам еще доставит! Гигантское головоноего в центре Москвы!

- Да, - сказал я - Интересно. Так вам его подарили?

- Подарили. В том-то все и дело. Совершенно неожиданно. В прошлом году наша экспедиция сняла с рифов в районе Бугенвиля океанологическую шхуну профессора Акасиды. Об этом писали в газетах, возможно, вы читали. Так вот, Акасида в благодарность прислал нам эго чудовище. Не понимаю, как им удалось поймать его. Надо отдать Акасиде справедливость: это королевский подарок. Экземпляра такой величины нет ни в одном аквариуме мира. Мало того, этот вид головоногого - Акасида нарек его мегатойтисом, сверхкальмаром, - еще не известен науке. Но мы оказались в ужаснейшем положении. Перед нами встали сложнейшие проблемы и прочее.

Положение, видимо, действительно было ужасным. На лице директора появилось выражение деловитого отчаяния. Он выставил перед собой пятерню.

- Вам следует знать, - заговорил он монотонным голосом, - что все эти мягкотелые монстры необыкновенно стенобионтны. Проблема номер один - вода. Вода должна быть, - он стал загибать пальцы, - проточной и свежей, достаточно теплой, солёности не ниже тридцати пяти промилле. К счастью, нам удалось достать солерастворитель. Проблема номер два - пища. Пока что мы договорились с живодерней, нам будут отпускать до двух пудов собачьего мяса в неделю. Возможно, торговая сеть согласится отпускать нам испорченные рыбопродукты. Впрочем, собачье мясо он пока кушает с аппетитом. Наконец, проблема номер три. То, чего о нем никто не знает. Это абиссальное животное, не правда ли? А как на него подействует длительное пребывание под атмосферным давлением? Это в высшей степени подвижное животное, лучший пловец в природе. Как на него подействует длительное состояние вынужденной неподвижности? Он принадлежит к раздельнополым животным. Как на него подействует отсутствие партнера? - Директор положил руку на стол, подумал и произнес: - Или партнерши, мы еще не знаем. И прочее. Масса всевозможных вопросов, которые мы даже не догадываемся сейчас поставить. И вот тут на сцену выступаете вы, товарищ Головин.

Я слушал во все уши. Гигантский живой спрут в Москве, во дворе издательства, под нашими окнами - в этом было что-то забытое и возбуждающее. Как будто я вернулся в детство. Что кушает за обедом крокодил? Что кушает за обедом спрут? С нынешнего дня спрут будет кушать за обедом собачек, убитых на живодерне. И мне стало очень жалко директора института. Если этот подарок подойдет, у директора действительно будут большие неприятности. Директор взял в руки пакет из глянцевой бумаги.

- Вместе со спрутом, - сказал он, - господин Акасида прислал нам вот эти документы. В сопроводительном письме - к счастью, он догадался написать по-английски, - говорится примерно следующее. Япония на протяжении всей своей истории имела дело с Тихим океаном, Южными морями и прочее. Японцы знают о спрутах больше, чем какой-либо другой народ. Богатейший опыт, если можно так выразиться. Существуют мифы о спрутах, легендарные рассказы, предания, хроники и прочее. Он, Акасида, чтобы мы могли насладиться его подарком более полно, - директор говорил с заметной горечью, - взял на себя труд и отобрал из мифов и хроник наиболее интересные материалы, касающиеся спрутов. Копии каковых он и посылает нам на рассмотрение.

У меня упало сердце.

- Разрешите взглянуть, - пробормотал я.

Директор протянул мне пакет, и я развернул глянцевую обертку. Внутри была плотная пачка четких фотокопий на немыслимо тонкой бумаге. Я вытянул одну наугад. Ах, чтоб их черти побрали, так и есть! Полускорость, хэнтайгана. Головоломка. Необычайно добросовестный человек, этот господин Акасида. Снял копии прямо с ксилографических изданий какого-нибудь Хатимондзия. Отступать было нельзя, как я мог добровольно уклониться от участия в таком деле? Мне оставалось только, пока железо горячо, закрепить свои позиции. Директор деловито говорил:

- Если я правильно понял господина Акасиду, здесь заключена народная мудрость, результаты вековых наблюдений за повадками головоногих, опыт многих поколений рыбаков и прочее. Для нас это единственная надежда. Повторяю, товарищ Головин, не

надо переводить все подряд. Для начала прогляньте бегло, отметьте существенные моменты...

- Что ж, - сказал я, - согласен. Вы понятия не имеете о том, что говорите. Но я согласен.

- Вы можете быть спокойны, - поспешно сказал директор. - Мы вам заплатим.

- Да, вы мне заплатите, - подтвердил я. - И заплатите хорошо, потому что вряд ли найдете сейчас в Москве другого чудака, который согласится бросить свои дела, чтобы бегло проглядывать токугавскую грамоту. На Балтийской улице или в другом месте. Но я уже согласился. А вы мне гарантируете свободный доступ в бассейн.

Он страшно удивился.

- Помилуйте, товарищ Головин, зачем это вам?

- Для вдохновения. Это мое единственное условие. Всю жизнь мечтал увидеть живого спрута.

Он поколебался, сморщился, как печеное яблоко, затем махнул рукой.

- Бог с вами, - сказал он. - Ему это вреда не причинит, вам, надо полагать, тоже... Теперь давайте договоримся о сроках. Когда мы можем рассчитывать?

- Через неделю я расскажу вам, о чем приблизительно идет речь на каждой страничке. - ответил я, заворачивая фотокопии. - И это при условии, если Борис Михайлович позволит мне несколько дней поработать дома.

- Неужели это так сложно? - произнес директор уныло.

- Да.

- Хорошо. Я постараюсь договориться с Борисом Михайловичем. Еще что-нибудь?

- Послушайте, не делайте вид, будто вы меня благодетельствовали. Честное слово, я не спекулянт. Просто я устал и очень занят. Понимаете? Покажите мне спрута, и я поеду работать.

Он встал.

- Благодарю вас, товарищ Головин, - важно сказал он. - Вы были очень любезны и прочее. Я сейчас собираюсь посмотреть, как у нас дела в бассейне, и если вам угодно, вы можете пойти со мной.

Он отворил и придержал дверь, пропуская меня.

У входа в бассейн стоял огромный небритый детина в грязной рубахе и стоптанных сандалиях на босу ногу.

- Это наш сторож, - пояснил директор. - Товарищ Василевский, запомните вот этого товарища. Ему тоже разрешается входить внутрь.

- Заметано, - хрипло ответил детина и ухмыльнулся, разглядывая меня наглыми мутными глазами. От него воняло водкой и колбасой, а когда он раскрыл грязную пасть, эта вонь на секунду забила даже кислятину, которой остро тянуло из дверей павильона.

В бывшей раздевалке несколько рабочих в комбинезонах и беспозвоночников в перепачканных белых халатах возились с трубами и кранами. Пол был усыпан обломками кафеля и бетонной крошкой. В углу грузно стоял дерюжный мешок, заскорузлый мерзкими темными пятнами. Из мешка торчала окостеневшая собачья лапа.

- С фильтрами закончили? - не останавливаясь, спросил директор.

- Колонки подвезут, и все будет готово, - ответили нам вслед.

В низком длинном помещении бассейна ярко светили лампы и гулко плескалась вода. Бассейн был отгорожен от входа высоким, по грудь, парапетом из шершавых цементных плит. У парапета спиной к нам стояли трое беспозвоночников в белых халатах и смотрели вниз. Один держал наготове кинокамеру. Вот здесь был запах так запах. У нас сразу перехватило дыхание, мы остановились и дружно закашлялись. Директор стал протирать очки. Это был холодный резкий и в то же время гнилостный запах, как из преисподней, на дне которой кишат сонмища гнусной липкой нежити. Он вызывал в памяти жуткие наивные фантазии Босха и младшего Брейгеля. От него прямо мороз продирает по коже. Я поглядел на директора и увидел, что ему тоже не по себе. Он часто моргал слезящимися глазами и прикрывал нос платочком.

- Ужасно пахнет, - сказал он виновато. - Мне, знаете ли, приходилось бывать на крабоконсервной фабрике, но там гораздо легче, смею вас уверить.

Один из белых халатов вдруг зажужжал кинокамерой, и в то же мгновение из-за парапета косо взлетела толстенная струя воды, ударила в потолок и рассыпалась потоками пены и брызг. Белые халаты отшатнулись.

- Ну и дает! - сказал один с нервным смешком.

- Инстинкт движения, - объяснил другой.

Все утирались. Я подкрался к парапету. Сначала я ничего не видел. Вода волновалась, на ней прыгали блики света и крутились маслянистые пятна. Постепенно я начал различать округлый бледно-серый мешок, темный выпуклый глаз и что-то вроде пучка толстых серых шлангов, вяло колыхавшихся на воде, словно водоросли у берега. Спрут лежал поперек бассейна, упираясь в стенку мягким телом. В первую минуту он не поразил меня размерами. Внимание мое привлекли щупальцы. На треть длины их скрывала какая-то дряблая перепонка, а дальше они были толщиной в ногу упитанного человека и к концам утончались и становились похожими на узловатые плети. Эти плети непрерывно двигались, осторожно касаясь противоположной стены, и тут я сообразил, что ширина бассейна составляет почти шестнадцать метров! Но в общем-то таинственное чудовище океанских глубин, гроза кашалотов и корсар открытых морей походило больше всего на кучи простыней небеленого холста, брошенные отмокать перед стиркой.

Я глазел на спрута, директор вполголоса переговаривался с подчиненными, и я все никак не мог отождествить эту огромную вялую бледно-серую тряпку в бассейне с проворными чудовищами, лихо карабкающимися на борт "Наутилуса", как вдруг распахнулась дверь и

ввалился воняющий потом и водкой Василевский, волоча по полу оскаленный труп собаки.

- Посторонись, граждане, - лениво просипел он, - время кормить.

Он нечаянно пихнул меня плечом, и я едва удержался, чтобы не ударить его. Я отошел от парапета.

- Мне пора, - сказал я директору. - Пожалуйста, не забудьте позвонить Полухину.

- Непременно, - отозвался директор. - Непременно. Но почему вы не хотите посмотреть, товарищ Головин? Это мало кто видел.

- Благодарю вас, - сказал я. - Нет, благодарю вас. Я должен идти.

Я услышал, как внизу шлепнулось в воду тяжелое тело. Наступила тишина, затем кто-то, кажется Василевский, испуганно и радостно вскричал: “Ага! Ага! Почуял!” Я почти бегом выбрался наружу. Мне было нехорошо. Я чуть не заплакал от солнца и чистого воздуха. У нас хороший двор, настоящий сквер с газонами, старыми деревьями и песчаными дорожками. Я шел по песчаной дорожке медленно, стараясь успокоиться и подавить тошноту.

Глава пятая

Я не поднялся сразу в редакцию, а некоторое время постоял в холодке возле лифта. Не знаю, что со мной было. Я не сентиментален и не люблю лучших друзей человека. Терпеть не могу ни собак, ни кошек. Но я все видел плачевную оскаленную морду дворняги, слышал плеск от падения тела и крик: “Ага! Почуял!” Я отлично сознавал огромную ценность спрута, знал, что беспозвоночники в любой момент готовы отдать ему веек собак Москвы, дохлых и живых, и что они правы. Но мне чудилось какое-то предательство в этом плеске и испуганно-радостном крике... Собаки принадлежали нашему миру. Они все время были с нами, на солнце и на воздухе. А чудище в бассейне было невероятно чужим. Ни мы, ни наши собаки не имели с ним ничего общего. Оно было чужое, насквозь чужое. Даже в его запахе не было ничего знакомого, пусть хотя бы и враждебного. Это было нелепо, что оно могло чего-то требовать от нас через разделявшую нас пропасть. А еще более нелепо было давать ему хотя бы самую незначительную частичку от нашего мира. И вдобавок низко радоваться, что оно приняло дань.

Потом я отдышался и вернулся в редакцию. Там все было привычно и светло. Тимофей Евсеевич торопливо царапал замечания на полях рукописи, наклонив над нею лысый череп и задрал правое плечо. Его желтоватая лысина тускло блестела под солнцем. Костя брезгливо перебирал запачканными в чернилах пальцами исписанные и исчерканные листки аннотаций. Волосы его были взъерошены, пестрая ковбойка расстегнута до пупа. Аккуратенькая Люся сидела очень прямо и стучала на машинке. Когда я вошел, она подняла мне навстречу хорошенькую мордочку и сообщила:

- Неодобрение я напечатала, Андрей Сергеевич, оно у вас на столе.

Я кивнул и прошел к своему столу. Костя с отвращением сказал:

- Аннотации я написал, но это все равно, по-моему, белиберда.

- Перепечатай и покажешь Тимофею Евсеевичу, - сказал я. - Сейчас я уйду и вернусь, наверное, только в понедельник. Тимофей Евсеевич, остаётся за меня.

- Слушаюсь, - тихонько отозвался Тимофей Евсеевич.

Они все внимательно глядели на меня. Но мне не хотелось рассказывать им о спруте. Я подписал неодобрение, убрал рукопись Майского в стол и поднялся.

- До свидания, - сказал я. - Если будет что-нибудь срочное - звоните. Но вообще постарайтесь не звонить.

- Знаем, - важно сказал Костя.

Люся, простая душа, осторожно оглянулась на него, покраснела и робко проговорила:

- Простите, Андрей Сергеевич, Марецкая опять заходила.

О господи! Что еще стряслось? Кто еще с кем пьянствует, кто с кем целуется? И что я еще такого натворил?

- До свидания, - повторил я и вышел.

В коридоре я с места перешел на бег. Я ринулся вниз по лестнице, прогрохотав каблуками по всем четырем этажам, как спринтер промчался через двор и перешел на солидный шаг только за воротами. У автомата я задержался и выпил два стакана воды без сиропа. Через минуту подошел троллейбус, и я до самой своей остановки сидел на горячем от солнца сидении, закрыв глаза и безудержно улыбаясь. Я вел себя как пьяный, но ничего не мог поделать. Меня одолевало чувство свободы. Очередное сражение с Баньютэем откладывалось, и ответственность за это нес не я. Дома я швырнул пакет с фотокопиями на стол, повалился на диван и крепко заснул.

Меня разбудил стук в дверь. Стук был неуверенный и тихий, ноя, вероятно, уже основательно выспался к тому времени и сейчас же открыл глаза. Спросонок я подумал, что это сосед принес почту, встал и распахнул дверь. За дверью стояла Юля.

- Здравствуй, Андрюша, - сказала она, смущенно улыбаясь. - Я не помешала?

- Ох, - сказал я. - Что ты, Юленька, как ты можешь мне помешать? Входи, сделай милость.

Она вошла, поглядела на диван и спросила:

- Ты спал?

- Да, - признался я. - Слегка вздремнул. Неужели уже вечер?

Она посмотрела на часы.

- Половина шестого.

- Ох, - сказал я. - Хорошо, что ты меня разбудила. Ты только подожди немного, я умоюсь и поставлю чайник.

- Если чай для меня, - сказала она, - то не беспокойся. Я сейчас уйду.

Я поставил чайник, с наслаждением попрыгал под ледяным душем, кое-как причесался и вернулся в комнату. Юля сидела в кресле и глядела на японскую саблю.

- Что это? - спросила она.

- А, - сказал я, - это у меня давно. Ты разве еще не видела?

Я вынул саблю из ножен и взялся за рукоять обеими руками. Затем я сделал зверское лицо и, вращая клинок перед собой, двинулся на Юлю, приседая на полусогнутых ногах. Наверное, точь-в-точь как тот несчастный негодяй на набережной в Хончхоне. Юля испуганно отодвинулась.

- Перестань дурачиться, пожалуйста, - сказала она. - Ну что за манера? Откуда это у тебя?

- Так, подарил один японец, - сказал я и сунул саблю обратно в ножны. - Такой милый человек. Очень любезно с его стороны, правда? Великолепная сталь. Неужели ты в первый раз видишь? Хотя да, ты тогда сидела, кажется, на диване, к ней спиной. Хочешь на диван?

Она закрыла глаза и помотала головой.

- Ну как хочешь. Что бы тебе еще показать? - Я огляделся. - Что у меня еще есть хорошенького?

- Сядь пожалуйста, Андрюша, - сказала она довольно резко, - Мне надо серьезно поговорить с тобой.

Я сел на диван. Она была какая-то бледная, с синяками под глазами. Летом в жару очень тяжело работать. Особенно женщинам.

- Между прочим, - сказал я. - Ты знаешь, я сегодня видел живого спрута. Живого, понимаешь? Такая огромная серая скотина. Он живет у нас в бассейне. Честное слово, я не шучу.

- Да? - сказала она безо всякого интереса. - Очень интересно. Послушай, Андрюша, у меня есть к тебе очень серьезный разговор.

- Опять о Майском?

- Нет. Не о Майском. Не о Майском, а о нас с тобой. Ты знаешь, что о нас с тобой говорят в издательстве?

- Какие-нибудь гадости, - предположил я.

Она вся так и вспыхнула, даже уши загорелись, а глаза наполнились слезами.

- Вчера вечером этот подлец Ярошевич при всех, при Полухине, при Степановой намекнул, будто я... будто мы с тобой... В общем, будто ты и я -любовники.

Последние слова она произнесла хриплым трагическим шепотом, достала из сумочки носовой платочек и высморкалась.

- Старый дурак, - сказал я. - Какое ему дело, спрашивается?

- Это он мстит, - продолжала Юля хриплым голосом. - Он сам всю зиму приставал ко мне, волочил, меня прямо тошнило от него. В новогодний вечер полез ко мне целоваться своими слюнявыми губами, я ему там же при всех пощечину залепила. Вот теперь он и мстит, распускает про меня мерзкую клевету.

- И про меня, - сказал я. - А почему ты не залепила ему еще одну пощечину?

- Ну что ты, Андрюша, он все-таки пожилой человек... и в партбюро, в присутствии директора... И потом я растерялась, я даже не сразу поняла, что он имеет в виду. Знаешь, как он это подло умеет делать, будто просто такая стариковская шуточка, но все сразу поняли, ведь нас с тобой часто видят вместе.

- Да, - вздохнул я. - Очень часто. Но ты успокойся, Юленька. Не огорчайся. Ну кто же принимает Ярошевича всерьез? Старый дурак, только и всего.

- Нет, нет, это ужасно, - сказала Юля твердо. - Ты себе представить не можешь, как это ужасно. Мы сейчас ведем такую борьбу за моральную чистоту, стараемся не оставить без внимания ни одного случая нарушения норм коммунистической морали - и вот пожалуйста, коммунистка, член бюро подозревается в такой распущенности. С какими глазами я теперь буду выступать перед нашими девушками? У меня такое чувство, будто меня вымазали грязью и выставили на всеобщее обозрение.

Она опять страшно покраснела и стала сморкаться.

- Ну, ну, Юленька, - сказал я. - Не надо так расстраиваться. Пережили страшную войну, пережили кое-как культ личности, переживем и Ярошевича. Мне, между прочим, не совсем понятно. Сколько тебе лет?

- Двадцать восемь, - сказала она. - При чем здесь мой возраст?

- Я вот что не понимаю. С каких пор считается, что здоровая молодая женщина не имеет права на... э-э... интимную жизнь? Даже если она коммунист и член партбюро.

- Никто не говорит о праве на интимную жизнь. Речь идет о распущенности, неужели не понятно?

- Как! - вскричал я. - Ярошевич посмел намекнуть, будто ты спишь не только со мной, но и с другими мужчинами?

Она с ужасом поглядела на меня и встала.

- Ты не смеешь говорить со мной в таком тоне, - сказала она. Голос ее дрожал. - Это неприличный, гаерский тон. Я пришла к тебе как к ближайшему другу поделиться своей обидой. Но я вижу, что это тебя совершенно не трогает. По-видимому, мы смотрим на эти

вещи по-разному. Я не из тех женщин, которые спят с мужчинами. И хотя мои взгляды могут кое-кому показаться смешными, я все же твердо убеждена, что интимная жизнь, как ты это называешь, вне брака постыдна и аморальна. Это просто распущенность, вот и все. Ты так не считаешь, что же, тем хуже для тебя.

Все-таки она была очень мила, даже сейчас, когда несла эту беспардонную чушь, усталая, истомленная жарой, с распухшим от слез носиком. Но она и ангела могла довести до шизофрении своими добродетелями. Я уже раз двадцать терпел ее ламентации по поводу общего падения нравов в наше время и ее кровожадные проекты укрепления семьи. Вероятно, мне еще раньше следовало дать ей понять, что у меня совсем другие взгляды.

- Довольно молоть чепуху! - рявкнул я. - Да, я так не считаю. И слава богу, сплетни старых идиотов меня несколько не задевают. И я не возьму в толк, почему они могут задевать тебя. Ты взрослая женщина, не замужем, и ты имеешь полное право жить с кем тебе заблагорассудится. И очень жаль, что мы не любовники, а то я бы постарался доказать тебе, что счастье не в печати от загса.

Она качнулась вперед, и мне показалось, что она хочет залепить мне пощечину, ту самую, которая по справедливости предназначалась старой песочнице Ярошевичу. Но она только высморкалась в последний раз и, не говоря ни слова, пошла из комнаты, пряча платок в сумочку. Что ж, это была у нас не первая ссора по принципиальному вопросу. И не последняя, надо думать. У нас редко случается, чтобы из-за принципиальных разногласий враждовали всерьез. Обыкновенно это горячие споры для души после плотного обеда или бесконечные самодовольные дуэты поверх рюмок с коньяком. А так как при этом не столько стараются уяснить точку зрения оппонента, сколько ищут способа его покрепче уязвить, то суть спора в конце концов исчезает в пучине празднословия, подобно песчинке в колодеце. Но меня пугает не беспринципность. По-моему, в общежитии достаточно трех принципов: не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Гораздо страшнее тупая, мелочная, железобетонная принципиальность. Та самая, которая сводится к охотничьему инстинкту. Когда ловят на легкомысленном поступке, на неосторожном слове, на неправильно истолкованной мысли. Это от нее все гадости. Принципиальный человек быстро утрачивает драгоценное ощущение необходимости постоянной самопроверки. Принципиальность становится последней ступенью к уверенности в собственной непогрешимости. А что может быть ужаснее в человеке, да еще в неумном человеке, нежели абсолютная и непоколебимая уверенность в собственной правоте при любых обстоятельствах и в любую минуту!

Услышав, как захлопнулась входная дверь, я отправился на кухню и снял с плитки кипящий чайник. Идти в кафе мне не хотелось, и я решил ограничиться чаем, благо у меня еще остался карбонат и немного сыра, завернутого в мокрую тряпочку. Правда, сыр, несмотря на меры предосторожности, слегка подсох, да и вчерашний хлеб тоже.

Глава шестая

Фотокопии, присланные профессором Акасидой, были пронумерованы от первой до девяносто четвертой, на обороте каждой было аккуратно выведено название первоисточника, а строки в тексте, относящиеся к объекту интереса, были четко выделены не то чернилами, не то черной тушью. На одной странице красовалась целая картина, выполненная очень тонко и, вероятно, в красках: по пенистым волнам плывет спрут, ужасное животное с голой раздутой головой, человеческими глазами и длинными

бородавчатыми щупальцами. К сожалению, больше иллюстраций не было. Некоторые первоисточники были мне знакомы, но вот уж не думал я, что мне придется когда-либо прочесть из них хотя бы строчку. “Книга вод”, “Предания юга”, “Записи об обитателях моря”, “Книга гор и морей”, “Сведения о небесном, земном и человеческом”. Было две страницы из “Упоминаний о тиграх вод”, а я - то считал, что “Суйко-коряку” - выдумка Акутагавы. Однако большая часть названий встречалась мне впервые. Видимо, это были архивные материалы или документы из частных коллекций: провинциальные хроники, собрания трактатов с совершенно бессмысленными заголовками, какое-то “Свидетельство господина Цугами Ясумицу”. Сомнительно, чтобы Акасида лично взялся за такую подборку, даже если чувство благодарности не давало ему покоя ни днем ни ночью. Конечно, этим занимались несколько человек и очень долгое время. И пусть они бегло читают корявую полускоропись, пусть воспринимают средневековую грамматику, как свою нынешнюю, все равно я снимаю перед ними шляпу. Это титаническая работа.

Поразмыслив, я решил читать все подряд и тут же выписывать все, что может представлять интерес для беспозвоночников - и для меня самого. Через сорок часов, в воскресенье около тринадцати, я закончил тридцать вторую фотокопию, вылез из-за стола и забрался на родимый диван. Записал же я вот что:

1. “Ика имеет восемь ног и короткое туловище, ноги собраны около рта, и на брюхе сжат клюв. Внутри имеет дощечку, содержащую тушь. Когда встречает большую рыбу, извергает волнами тушь, чтобы скрыть свое тело. Когда встречает мелких рыб и креветок, выплевывает тушевую слюну, чтобы приманить их. В “Бэнь-цао ган-му” сказано, что ика содержит тушь и знает приличия”. (“Книга вод”.)
2. “По мнению Бидзана, ика есть не что иное как метаморфоза вороны, ибо есть и в наше время у ика на брюхе вороний клюв, и потому слово “ика” пишется знаками “ворона” и “каракатица”. (“Сведения о небесном, земном и человеческом”.)
3. “К северу от горы Дотоко есть большое озеро, и глубина его очень велика. Люди говорят, что оно сообщается с морем. В годы Энсё в его водах часто ловили ика и ели в вареном виде. Ика всплывает и лежит на воде. Увидев это, вороны принимают его за мертвого и спускаются на него поклевать. Тогда ика сворачивается в клубок и хватается их. Поэтому слово “ика” пишется знаками “ворона” и “каракатица”. Что касается туши, которая содержится в теле ика, то ею можно писать, но со временем написанное пропадает, и бумага снова делается чистой. Этим пользуются, когда пишут ложные клятвы”. (“Книга гор и морей”.)
4. “Согласно старинным преданиям, ика являются челядью при особе князя Внутреннего моря. При встрече с большой рыбой они выпускают черную тушь на несколько футов вокруг, чтобы спрятать в ней свое тело”. (“Книга гор и морей”.)
5. “У поэта древности Цзо Сы в “Оде столице У” сказано: “Ика держит меч”. Это потому, что в теле ика есть лекарственный меч, а сам ика относится к роду крабов”. (“Книга вод”.)
6. “В море водится ика, и спина его похожа на игральную кость “шупу”, телом он короткий, имеет восемь ног. Облик его напоминает голого человека с большой круглой головой”. (Записи об обитателях моря”.)
7. В бухте Сугороку видели большого тако. Голова его круглая, глаза как луна, длина его достигает тридцати футов. Цветом он был как жемчуг, но, когда питался, становился фиолетовым. Совокупившись с самкой, съедал ее. Он привлекал запахом множество птиц

и брал их с воды. Поэтому бухту называли Такогаури - Бухтой Тако". ("Упоминания о тиграх вод".)

8. "В старину некий монах заночевал в деревне у моря. Ночью послышался сильный шум, все жители зажгли огни и пошли к берегу, а женщины стали бить палками в котлы для варки риса. Утром монах спросил, что случилось. Оказывается, в море около тех мест живет большой ика. У него голова как у Будды, и все называют его "бодзу" - "монахом". Иногда он выходит на берег и разрушает лодки". ("Предания юга".)

9. "Береговой человек говорит "ика", "тако", но не знает разницы между ними. Оба знают волшебство, имеют руки вокруг рта и вместилище для туши внутри тела. А человек моря различает их легко, ибо у ика брюхо длинное и снабжено крыльями, восемь рук поджаты и две протянуты, в то время как у тако брюхо круглое, мягкое, и восемь рук протянуты во все стороны. У ика иногда вырастают на руках железные крючья, поэтому имодо (ныряльщицы) боятся его". ("Упоминания о тиграх вод".)

10. "В деревне Хоккэдзука на острове Кусумори жил рыбак по имени Гэнгобэй. Однажды он вышел на лодке и не вернулся. Жена его, положенный год прождав напрасно, вышла за другого человека. Гэнгобэй через десять лет объявился в Муроцу и рассказал, будто лодку его опрокинул ика, огромный, как рыба Кунь, сам он упал в воду и был подобран пиратом Надаэмоном". ("Предания юга".)

11. "Тако злы нравом и не знают великодушия к побежденному. Если их много, они дерзко друг на друга нападают и разрывают на части. В старину на Цукуси было место, где они собирались для совершения своих междоусобиц. Ныряльщики находят там множество больших и малых клювов и продают любопытным. Поэтому говорится: "таконото-мокуи" - "взаимопожирание тако". ("Записи об обитателях моря".)

Глава седьмая

Отдохнуть мне не удалось. Едва я завел глаза, как меня позвали к телефону. Казенно-благожелательный женский голос осведомился, не забыл ли я, что сегодня вечером меня ждет Хида. Я ответил, что не забыл, и пошел стирать носки и носовой платок. Затем, когда я гладил выходные брюки, позвонил Костя Синенко. Он был пьян, как змий, даже из трубки пахло.

- Я все-таки звоню, - сообщил он. - Ничего не поделаешь. Мой нравственный долг. Принцип "и".

- Ты где нализался? - спросил я.

- Будь гуманен. Соблюдай принцип "жень". Я блюду принцип "и", а ты соблюдай "жень". Конфуций сказал: "Последовательно соблюдая мои принципы, вы улучшаете человеческую природу". Ты найдешь этот лозунг в любой столовой и закускойной.

- Хорошо, хорошо. Что случилось?

- Ты славный парень. Но ты лишен информации. А что сказал Винер? Винер сказал: "Чем более вероятно сообщение, тем меньше оно содержит информации". Такие плакаты ты увидишь в любом зале ожидания.

- Короче, - сказал я.

- Совершенно невероятное сообщение. Совершенно без энтропии. Я хотел позвонить тебе прямо вчера. Это мой долг, поскольку ты лишен информации. Но ты не разрешаешь. Не разрешаешь - не надо. Я и не звоню.

- Правильно делаешь, - нетерпеливо сказал я. - Сообщай скорей, мне некогда.

- Я не буду тебя томить. Преданный подчиненный не должен томить гуманного начальника. Все тот же принцип "и". Что же было вчера? Ты меня постоянно перебиваешь, и я могу сбиться. Да! Вчера утром беспозвоночники пригласили Полухина, Степанову и прочих поглядеть на осьминога.

- На осьминога?

- Да. Превосходный осьминог, я потом тоже ходил смотреть. Но абсолютно беспринципный. Невзлюбил Степанову с первого взгляда и окатил какой-то черной жидкостью. Подумай только. Как сказал товарищ Апулей, "зловоннейшей мочой меня совсем залили". И у Степановой облез нос.

- Не может быть.

- Облез, можешь не сомневаться. Это нам так понравилось, что мы тоже пошли поглядеть. Всем издательством.

- На что пошли поглядеть? На нос Степановой?

- И на нос тоже. Но главным образом на осьминога. Да, совершенно забыл. Теперь у нас есть осьминог. Его привезли японцы, и он живет в бассейне, во дворе. Слушай, тут мои недоброжелатели не дают мне говорить. Отбирают трубку. Собралось множество хорошеньких девушек, и все как одна жаждут с тобой познакомиться. Особенно жаждет Зиночка. Я сказал, что ты холостой. Моя неосторожность. Теперь она жаждет...

Я повесил трубку. Ика содержит тушь и знает приличия. Интересно, подумал я, что в средневековой Японии понимали под приличиями? Если бы спрут профессора Акасиды знал приличия, он бы окатил не безобидную старую деву Анну Семеновну, а старого пройдоху Ярошевича И Юля была бы отомщена. Впрочем, возможно, что он промахнулся. Или нравы головоногих здорово изменились. Я представил себе, как Анну Семеновну, плачущую, забрызганную серо-черными кляксами, выводят под руки из павильона. Эту тушь ведь не сразу отмоешь, не сразу отстираешь. Однажды в Байкове каракатица вот так же загадила китель одному моему знакомому, капитану траулера. Это был белый полотняный китель, и его пришлось выбросить потому что ни мыло, ни щелок пятен не брали. Но жизнерадостному лоботрясу Косте все это представляется очень забавным. В общем-то он добрый мальчик, но его реакции на такого рода вещи, наверное, сродни реакциям живодера-сторожа. Уж не знаю, почему я вспомнил о Василевском. Мне даже почудился смрад перегара и колбасы.

Я вышел в начале шестого, пообедал в кафе напротив и отправился на улицу Горького. В магазине подарков я после долгих колебаний купил за восемь рублей фигурку медведя тобольской резьбы, а затем, выстояв порядочную очередь в магазине русских вин, получил тяжелую коробку с подарочной водкой. Это очень хорошая водка, приятная и чистая на вкус, зеленовато-золотистого цвета. Она продается в массивных прямоугольных

флаконах со стеклянной пробкой, ее особенно приятно разливать в широкие бокалы или в чайные стаканы тонкого стекла. Чтобы размяться, я решил идти пешком, и пока я шел, водка то и дело звонко булькала у меня под мышкой.

В вестибюле “Пекина” меня встретил полужнакомый юноша из Института востоковедения. Радостно улыбаясь, он пожал мне руку обеими руками и сказал:

- Вот хорошо, Андрей Сергеевич, а Хида уже ждет вас. Пойдемте?

- Пойдемте, - сказал я.

- У него номер на третьем этаже. Я уж боялся, что вы не сможете прийти. Что бы я тогда с ним делал?

- Сводили бы в кино.

- Только кино нам с ним и не хватало! Вы не поверите - я совсем замучился. - Вид у него действительно был несколько ошалелый. - Восьмой день как на карусели. ВДНХ, Кремль, Третьяковка, Большой театр. Жара, пить все время хочется. Такси не достать. Юго-запад, Юго-восток. Канал! Господи, я москвич, но в жизни прежде не был на канале.

- А что ему нужно от меня?

- Право, не знаю. Может быть, просто решил отдохнуть вечером. Он ведь, бедняга, тоже округовел. И потом вы перевели его книгу, издательский работник. Будет, наверное, просить, чтобы перевели его новую книгу.

- Он говорит по-русски?

- Совсем не говорит.

- Скверно. Я не говорил по-японски лет десять.

- Дзэн-дзэн дэкимасэн-ка?

- Скоси дэкиру-то омоимас-га...

- Наруходо дзаннэн дэс. Мне сегодня позарез нужно съездить в одно место.

- Конечно, поезжайте. Как-нибудь договоримся.

Он очень обрадовался.

- Спасибо, Андрей Сергеевич. Вы меня здорово выручили.

- Вот кстати, - сказал я с настоящими полухинскими интонациями, - когда ему можно отдать подарки? Сразу?

- Да когда захотите. Мужик он простой, без церемоний.

Хида занимал небольшой однокомнатный номер с небольшим столиком, небольшим шкафом и чудовищной двуспальной кроватью. Он встал, нагнул голову и молча двинулся к нам, протягивая руку. Юноша важно провозгласил:

- Господин Хида. Головин-сан.

- Зудораствуйте, - сказал Хида.

- Извините, Хида-сан, - поспешно сказал юноша по-японски, - но поскольку Головин-сан знает японский язык, я вам, вероятно, не буду нужен.

Хида вопросительно взглянул на меня.

- Дайдзёбу дэс, - сказал я.

- Дэ-ва саёнара, Зорин-сан, - сказал Хида.

- Саёнара, Хида-сан! - сказал юноша. - Асьта мадэ. - Он прямо-таки сиял от радости. Даже неловко было. - До свидания, Андрей Сергеевич! - Он сделал ручкой и исчез.

- Окакэнасай, - чопорно сказал Хида и показал на стул. - Позаруйста.

Я поставил коробку с водкой на столик и сел. Хида сел напротив, расставив ноги и уперев ладони в колени. Мы уставились друг на друга. У Хиды были твердые спокойные глаза в щелках припухших век.

- Я говорю по-японски плохо, - сказал я, - и прошу меня извинить. Прошу также господина Хиду говорить медленно.

Хида поклонился, взял со столика веер и стал обмахиваться.

- В прошлом году, - начал он, - я имел удовольствие получить от господина Головина свою книгу на русском языке с его доброжелательной и великодушной надписью. Мой друг Касима Сёхэй, специалист по русской литературе, ознакомился с переводом и к моей радости нашел, что перевод очень точен в смысловом и эмоциональном отношении. Благодарю.

- Рад это слышать, - сказал я, потому что он сделал паузу.

- Мою книгу издали также в Англии и во Франции, - продолжал Хида. - Английский перевод очень слаб, в нем опущены целые главы и сильно искажена моя мысль. Что касается французского перевода, то он сделан с английского варианта и, следовательно, тоже никуда не годится. Тем больше удовольствия доставил мне отзыв моего друга Касимы Сёхэя о переводе господина Головина. Благодарю.

Я повторил, что рад слышать. Я чувствовал, что разговор на таком официальном уровне я долго не выдержу. И вообще мне не давала покоя проблема подарков. Я решился.

- В свою очередь, - сказал я, старательно подбирая слова, - я тоже позволю себе искренне поблагодарить господина Хиду. Роман господина Хиды был тепло встречен советским читателем, девяносто тысяч экземпляров без остатка разошлись в несколько недель, и "Литературная газета" поместила на своих страницах самый лестный отзыв. Позвольте,

господин Хида, в качестве скромного знака признательности за удовольствие, доставленное мне вашими романом “Один в пустоте”, а также по случаю посещения вами Москвы вручить вам эти подарки.

Я переборщил. Для Хиды это звучало, наверное, так же, как звучала для мистера Кленнэма болтовня слабоумной простушки Флоры Финчинг. Во всяком случае, после первой моей фразы на его неподвижном лице изобразилось напряженное недоумение, которое исчезло только при слове “подарки”. Он встал, я тоже встал. Приняв от меня водку и тобольского медведя, он протянул мне пластмассовый футляр с превосходной паркеровской авторучкой и маленькую деревянную куклу, похожую на кеглю.

- Господину Головину в память о нашей встрече в Москве, - сказал он и поклонился. - Благодарю.

Я тоже поклонился. Лед был сломан.

- Разрешите предложить вам коньяку, господин Головин, - сказал он. - Или пива?

- Благодарю вас, немного коньяку.

Он проворно поставил на столик две рюмки и открыл бутылку армянского коньяка. Он был коренастый, массивный и, когда сидел, казался неуклюжим. Но движения его были ловкие и точные. Он наполнил рюмки и сел.

- Господину Головину нравится японская литература? - спросил он.

- Я не специалист, - сказал я. - Я люблю хорошие книги. В японской литературе есть отличные книги. Мне нравится “Великое оледенение” Абэ Кобо. Потом “Море и яд” Эндо Сюсаку. Меня интересует Эдогава Рампо. Хотя вам он, наверное, не нравится, Хида-сан?

- У него есть примечательные вещи, - сказал Хида и отпил из рюмки.

- Потом мне нравится Гомикава. Нравится ваша “Луна над Малайей”.

Хида отпил из рюмки.

- Очень хороший коньяк, - проговорил он сдавленным голосом и промокнул глаза платком. - К сожалению, мне много нельзя. Но бутылку вот такого коньяку и ваш подарок я обязательно отвезу домой и буду угощать только самых близких друзей. - Он поставил рюмку. - Господин Головин, конечно, понимает, что “Луна над Малайей” является автобиографическим романом. Как и “Один в пустоте”.

- Понимаю. 15-я армия?

Он помедлил, разглядывая меня из-под тяжелых век.

- Да. Я был солдатом во 2-й дивизии. Рядовым второго разряда. В романе я вывел себя под именем ефрейтора Сомэ.

- Я так и понял.

- Не знаю, зачем я это сделал. Рядовым второго разряда приходилось гораздо хуже, чем ефрейторам. Но остальное все было так, как описано. Дивизию высадили под Новый Год в Куантане. Второго февраля на переправе у Джохор-Бару я был ранен, и меня отправили в метрополию. Была даже красивая девушка Митико в гарнизонном госпитале Окаяма, не помню только, как ее звали по-настоящему. И больше в боях я не участвовал.

- Господину Хида повезло.

- Да. Мне повезло. А господин Головин участвовал в боях?

- Участвовал, - сказал я. - Когда сдалась Германия, я лежал в гарнизонном госпитале в Кишиневе. Когда сдалась Япония, я лежал в госпитале в Хончхоне. В Хончхоне было лучше - меньше народу.

- Когда сдалась Япония, - грустно сказал Хида, - я сидел в военной тюрьме в Исикири. Меня освободили уже при американцах.

Мы помолчали. Мне почему-то было неприятно это молчание, и я бодро сказал:

- Господин Хида и я - мы оба воевали за мир, каждый по-своему.

Хида снова наполнил мою рюмку.

- Мир, - проговорил он - Господин Головин изранен, мне в тюрьме отбили почки. Но что изменилось?

Наступил самый подходящий момент, чтобы затянуть дешевый диалог на тему “да, вы правы, жертвы народов были напрасны” или, как, наверное, ожидалось от меня, “нет, вы не правы, народы не дадут втянуть себя в новую бойню”. Я сказал:

- Изменилось многое. Появилось множество факторов, которые не поддаются пока точному учету. Каждый из них может иметь определяющее влияние на ход событий. - Я подождал, проверяя, сумел ли Хида уловить смысл в моем ублюдочном японском. Хида кивнул. - Никто не имеет полной информации о положении в мире на каждый момент. - Я опять подождал, и Хида опять кивнул. - Политики знают больше нас, средних людей, но и они знают далеко не все. Сейчас люди могут только увеличивать или уменьшать вероятность возникновения войны. Никто не смеет утверждать: да, война обязательно будет. Или: нет, война невозможна. Можно только утверждать: да, возможность войны не исключена.

- Господин Головин - коммунист? - спросил вдруг Хида.

- Да, я коммунист и член коммунистической партии.

- Но господин Головин, - сказал Хида с хитренькой улыбкой, - говорит о войне, как о явлении метафизическом. Он считает, что можно только верить, но не утверждать. А во что верить - это вопрос вкуса. Я правильно понял?

- Почти правильно. Это вопрос вкуса и совести. Не вижу в моей позиции никаких противоречий. Объективно, во всяком случае. Если верить, что война неизбежна, незачем работать. Но я, будучи убежденным коммунистом, не мыслю жизни без работы. Мне приятно верить, и я верю, что война не случится, что через какое-то время исчезнет ее

возможность, и человечество заживет счастливо. И есть еще одно обстоятельство. Господин Хида не должен забывать, что люди могут увеличивать и уменьшать вероятность войны. Честная активная работа уменьшает эту вероятность. Я работаю. Господин Хида тоже работает. Мы не всегда это сознаем, но так или иначе господин Хида пишет антивоенные книги, а я способствую укреплению связей между нашими странами. И эта наша деятельность - не самая маловажная в мире. А теперь, если господин Хида разрешит, я хочу оставить эту тему. Я не каждый день встречаю японского писателя и не могу упустить случая выяснить некоторые вопросы о положении в современной японской литературе.

Господин Хида разрешил. Мы проговорили еще часа полтора, и я спохватился только, когда он встал, чтобы зажечь свет. Пора было уходить. Я больше не жалел, что пришел сюда. Хида был умница. Кроме того, он рассказал мне много интересного. Пока я курил последнюю сигарету, он завернул футляр с авторучкой и куклу в целлофан и с поклоном вручил мне.

- Было истинным удовольствием поговорить с вами, - сказал он вежливо.

- Напротив, - по всем правилам возразил я. - Это я получил большое удовольствие от беседы с вами. Между прочим, я совсем забыл. Господин Хида видел когда-нибудь осьминога?

- Осьминога? - Он озадаченно поглядел на меня.

- Да. Осьминога или каракатицу.

Он пошевелил пальцами, видимо, изображая щупальцы.

- О, - сказал он. - Разумеется, я видел. Это очень вкусно. Осьминога варят и заправляют соусом. Очень вкусно. И совсем недорого.

Мы попрощались.

Глава восьмая

Я спустился в вестибюль, раздумывая, не поужинать ли в ресторане. Я сильно проголодался, вероятно, из-за двух рюмок коньяка, выпитых у Хиды. До полочки оставалось около тридцати рублей, и я мог позволить себе лапшу с подливой, стакан вэймэйсы и чашку кофе по-турецки. Неплохо было бы вареного осьминога, но осьминогов в "Пекине", по-моему, никогда не подавали. Вообще после того, как уехали китайские повара, готовить здесь стали гораздо хуже. Осьминога бы наверняка испортили, а лапшу не испортишь, разве что она подгорит, вино разливают в Китае, кофе везде одинаковый.

Я повернул к ресторану и вдруг увидел Нину. Мне кажется, что за секунду до этого я почувствовал, что увижу ее. Что-то мягкое толкнуло меня в сердце, и я задохнулся. И меня опять охватило чудесное и горькое ощущение великой утраты и грустного счастья, и я остановился, чуть не плача от радости и жалости к ней и к себе, и все сразу вылетело у меня из головы. Японец, вэймэйсы, спрут - все. Я стоял в десяти шагах от входа в ресторан и в десяти шагах от дверей уборных и смотрел на нее, и глотал и не мог проглотить комок, застрявший в горле. Через минуту это прошло.

Она стояла у стола перед почтовым барьером и разговаривала с какой-то иностранкой в очках. На ней был белый джемпер и широкая клетчатая юбка, она рассеянно улыбалась, похлопывая себя по бедру плоской белой сумочкой, крупная, стройная, с прекрасным неправильным лицом, с массивной копной темных волос на прекрасной голове, с крепкой длинной шеей, с маленькой грудью и сильными толстоватыми ногами, бесконечно женственная и прекрасная, хотя я понимал, что по-прежнему никто кроме меня этого не знает и не замечает. Она словно совсем не изменилась, а, может быть, она не изменилась только для меня, даже наверное так, недаром я видел ее такой в самых лучших своих снах, когда и думать не смел увидеть когда-нибудь наяву.

Она стояла и разговаривала с иностранкой, а я стоял и смотрел, не в силах оторваться, не в силах заставить себя уйти и не в силах заставить себя подойти к ней. Тут она, скучая, повернула голову и увидела меня. Она рассеянно глядела на меня, продолжая говорить, потом замолчала на полуслове, и глаза ее потемнели и словно распахнулись, и одно-единственное мгновение она смотрела на меня так, как в то утро, в славном пустом сквере, когда маленькая дочка ее играла в песке у наших ног. Но это длилось одно-единственное мгновение. Она улыбнулась, кивнула и помахала мне рукой. Иностранка тоже посмотрела на меня и тоже улыбнулась, что-то сказала Нине, и они обе засмеялись. Потом иностранка ушла, вихляя тощим задом, и мы пошли навстречу друг другу и встретились посередине вестибюля.

- Здравствуй, Андрюшенька, - сказала она радостно. - Вот так неожиданность!

У нее были горячие, чуть-чуть влажные от жары руки, и я поцеловал эти руки, правую, в которой она держала сумочку, и свободную левую, и опять правую, и она отняла их от меня, опустила и сложила на животе. Я решился и поднял глаза. Она стала как будто выше ростом, потому что ее глаза были теперь на уровне моего подбородка. Ее лицо находилось совсем близко, сантиметрах в тридцати. Я увидел свое отражение в ее зрачках, и крошечные капли испарины на лбу и на пушистой верхней губе, и жесткие морщинки возле глаз и по сторонам рта. И заросшие дырочки от сережек в мочках ушей. Она тоже разглядывала меня, выпятив нижнюю губу.

- Здравствуй, Андрюша, - повторила она. - Вот как мы встретились.

- Да, - тупо сказал я.

- Ты давно в Москве?

- Давно. Уже лет пять... нет, шесть лет.

- И ни разу не зашел. Эх ты. А еще старый друг.

- Я не мог.

- Неужели так занят?

- Я никак не мог, Ниночка. Честное слово. Никак не мог.

- Нельзя забывать старых друзей.

Так могла сказать и Юлия Марецкая. Но ведь мы встретились. Она не отвернулась. Она могла кивнуть и отвернуться. Могла даже не кивнуть. Но вот мы стоим в тридцати

сантиметрах друг от друга и разговариваем, и она разглядывает меня, выпятив нижнюю губу. Она всегда так делала, когда была озабочена.

- Андрюша, - сказала она почти с испугом, - ты совсем седенький стал!

- Это от веселой жизни.

- Что, неужели так плохо?

- Отчего же плохо? Просто трудно.

- Работа?

- И работа. И всякие другие вещи.

- Бедненький.

- И возраст, Ниночка.

Она вздохнула.

- Да, возраст. Ну, а я?

- Что?

- Я сильно изменилась?

Я помотал головой. Она обрадовалась.

- Нет?

- Ничуть.

- Правда?

- Честное слово. Ты прелесть и женщина.

Не знаю, как это у меня вырвалось. Но она либо забыла, либо не обратила внимания.

- Как приятно слы-ышать! - сказала она. - Только не очень-то завидуй, Андрюшенька. Это наполовину косметика. Парикмахерская, кабинет красоты.

- Неправда.

- Правда. У меня тоже очень утомительная жизнь. Хлеб свой насущный снискиваю в поте лица. И души, между прочим.

- Не сердись, - попросил я. - Я только хотел сказать, что ты совсем не изменилась.

- Я стараюсь. Но знал бы ты, как это трудно, Андрюшка!

Она нагнула голову. Некоторое время мы молчали, и я смотрел, как от моего дыхания шевелятся отставшие волоски на ее макушке. Она подняла лицо.

- Глупости, - сказала она решительно. - Все это глупости. Работа есть работа. Я что-то расклеилась сегодня. Слушай, я тебя не задерживаю?

- Что ты, конечно нет.

- Разве ты здесь один?

- Где - здесь?

- В ресторане. Я думала, ты вышел из ресторана. Нет?

- Вовсе нет. В ресторане я не был. Имеет место на редкость одинокий Головин, который как раз собирается поужинать. Разреши пригласить тебя, Ниночка.

- Я бы с радостью, - сказала она, - но не могу.

- Почему?

- Во-первых, я только что ужинала.

- А во-вторых?

- Понимаешь, Андрюшенька, мне пора домой. Одиннадцатый час.

Я оглянулся на часы над гардеробом. Было пять минут одиннадцатого.

- Тогда разреши проводить тебя.

- Проводи, - просто согласилась она. - Это недалеко, да ты помнишь, наверное.

- Помню, - пробормотал я.

Мы вышли из гостиницы, повернули направо и медленно пошли по Садовому. Нина жила на улице Алексея Толстого.

- Где ты работаешь? - спросил я.

- В "Интуристе".

Она взяла меня под руку. Я чувствовал сквозь рукав, какие у нее горячие и твердые пальцы, ее юбка задевала мое колено, и я опять, впервые за долгое, долгое время ощутил великое чудо и великую прелесть женщины, прелесть женского голоса, женских интонаций, и мне было необыкновенно хорошо.

- Ты со мной не шути, - сказала она. - Я старший гид-переводчик, вот кто я.

- Ты прелесть и женщина, вот кто ты, - сказал я на этот раз умышленно. Она промолчала. - Ты работаешь с японским?

- Что ты, с английским, конечно.

- Забыла?

- Начисто. Корэ-ва кабан дэс. Больше ничего не помню.

- Не жалко?

- Не знаю. Пожалуй, жалко. Слушай, Андрюша, ты встречаешь кого-нибудь с нашего курса?

- Очень редко. Майского вот встречаю. Помнишь Петю Майского?

- Майский, Майский... Он ведь турок?

- Почти. Арабист. Орлов в министерстве иностранных дел, Мишенька Сегал в радиокомитете, он недавно был у меня. Кстати, а не помнишь ты Юлю Марецкую? Она училась на два курса позже нас.

- Марецкую? Комсорга? Ну как же, очень хорошо помню. Она была такая беленькая, хорошенькая; очень серьезная и не умела одеваться.

- Вот, вот. Она сейчас работает в том же издательстве, что и я.

- Нет, Юлю Марецкую я хорошо помню. Году в пятидесятом я отказалась подписаться на заем, и мы с ней немножко повздорили, Она назвала меня девкой и антисоветской сволочью и сказала, чтобы я не смела заходить в уборную на нашем этаже. Сказала, что уборной имеют право пользоваться только честные студентки.

Я остановился и заглянул ей в лицо. Она спокойно улыбалась.

- Ну что ты остановился? Не веришь? Правда, правда. Я ее не послушалась, потому что, ты сам понимаешь, деваться мне было некуда. Но я весь месяц тряслась от страха, что меня лишат стипендии. Это у меня была полоса неприятностей. Нас обворовали, умерла мама, Наташка заболела скарлатиной, и, боюсь, я вела себя немножко нервно. Господи, как давно это было!

Юля Марецкая могла отколоть и не такое, но я понятия ни о чем не имел. Должно быть, это случилось до того, как Нина пришла за конспектами в нашу комнатушку под крышей. Я писал письмо в Ленинград, Петька Майский валялся на кровати и делал вид, что читает Коран, а Миша Злобин брился, и тут к нам несмело вошла Нина, ведя за руку крошечную смуглую девочку с носом-пуговкой.

- Нина, а что Наташа? - спросил я.

- Наташке пятнадцатый год, представляешь? Растет ужасно, скоро меня догонит. Мой домашний тиран,

- Ты замужем? Она засмеялась.

- Что ты, Андрюшенька, я ведь убежденная мать-одиночка. И потом зачем мне благодетели?

Мы медленно шли мимо скамеек Подлипками, где сидели старички в парусиновых фуражках и старушки в диковинных капотах.

- А ты? - спросила она с любопытством.

- Я развелся.

- Бедняжка.

- Да. Сирота.

- Детей, конечно, нет?

- Почему - конечно?

- Ну, это же видно.

- То есть?

Она пожала плечами и нагнула голову.

- Почему я знаю? Просто видно, и все.

- Она не хотела ребенка, - сказал я. - Не то боялась, не то считала, что рано. В общем, все получилось к лучшему.

- Всегда все получается к лучшему.

- Надо надеяться.

Она держала меня под руку и смотрела вниз, старательно ступая в ногу со мной. На ней были светлые остроносые туфли на высоких каблуках. Вот отчего она показалась мне выше ростом. Прежде она никогда не носила туфель на высоких каблуках. Тук... тук... тук... - стучали каблуки по асфальту.

- Ты ее любишь?

- Нет, - быстро ответил я. Затем добавил: - Когда-то думал, что люблю. А теперь нет. Ни капельки.

- Молодец. Если это правда, конечно.

- Это правда.

- Вы давно разошлись?

- Давно. Я вернулся с Сахалина, и она от меня ушла.

- А что ты делал на Сахалине?

- Разное. Плавал, главным образом. Хорошо было.

- Зачем же вернулся?

- Право, не знаю. Домой, должно быть, захотелось.

- Андрюшенька, ты можешь ответить мне откровенно на один вопрос?

- Могу.

- Слово?

- Слово.

- Это тык ней тогда ушел?

- К ней, Ниночка.

Тук... тук... тук... тук... тук...

Она выпустила мою руку и остановилась.

- Вот, - сказала она. - Я почти дома. Ступай обратно. Пускают до одиннадцати, и ты как раз успеешь.

На мгновение меня охватила паника. Нельзя нам было вот так просто попрощаться и разойтись. Я уже знал, что лучше мне умереть, чем снова потерять ее.

- Ну уж нет, - сказал я, стараясь говорить спокойно. - Я обратно не пойду. На кой черт, спрашивается, мне идти обратно?

- Но ты же собирался ужинать.

- Ничего подобного. Мне расхотелось.

- Ты голоден, как волк.

- Это тебе кажется. Я сыт, как удав.

Она подняла руки и поправила волосы, искоса глядя на меня. Потом она улыбнулась.

- Ты уверен, что не голоден?

- Совершенно уверен.

- У тебя глаза какие-то голодные.

- У Босини тоже были голодные глаза.

- У кого?

- У Босини. Из "Саги".

По тому, как у нее застыло лицо, я понял, что она вспомнила.

- Эх ты, - тихо сказала она, - старый друг. Пойдем, нам на ту сторону.

Она опять взяла меня под руку и повела через улицу. Мы молчали, и только в лифте, повернувшись ко мне спиной и отыскивая нужную кнопку, она проговорила с нервным смешком:

- Интересно, что скажет Наташка.

Глава девятая

В прихожей нас встретила длинная худая девочка в выцветшем сарафане, из которого она выросла года три назад, с длинными голыми ногами и с хорошеньким круглым личиком. На мать она совсем не была похожа, разве только глаза у нее тоже были большие и серые и расставлены так же широко. Увидев меня, она насупилась и сердито сказала:

- Здравствуйте.

- Это моя дочь Наташа, - чинно сказала Нина. - Наташа, это Андрей Сергеевич. Он из-за меня остался без ужина, и мы должны накормить его. - Она изо всех сил старалась выглядеть виноватой, но это у нее плохо получалось. - Пожалуйста, сделай там что-нибудь.

- Прекрасно, - ледяным тоном произнесла Наташа. - Я сделаю яичницу.

- Как вы относитесь к яичнице? - спросила Нина, повернувшись ко мне.

- Побольше, - попросил я. - Я голоден как волк. И чаю, если нетрудно. Сладкого.

Наташа стремительно повернулась и удалилась на кухню, стукнувшись боком о косяк.

- Ну как? - спросила Нина шепотом.

- Прелесть, - пробормотал я. - Жаль носа-пуговицы, а так - прелесть.

- Много ты понимаешь...

На кухне загремели сковородки. Нина подтолкнула меня, и мы прошли в комнату. Почти ничего здесь не изменилось, только исчез пузатый родительский комод, и вместо детской кровати стояла широкая низкая тахта. По-прежнему было чисто и аккуратно, по-прежнему пахло свежим бельем и немножко парфюмерией. По-прежнему возле окна размещалось доброе полукруглое кожаное кресло. Дверь в мою комнату была приоткрыта. Там был виден желтый угол новенького письменного стола, край белой постели и маленький матерчатый тапочек на пестром коврик.

- Там теперь Наташкино царство, - сказала Нина. Я взглянул на нее, и она поспешно отвела глаза.

- Что же мы стоим? - сказала она. - Пойдем, помоешь руки.

Я отправился в ванную, а она пошла на кухню. Через несколько минут она принесла мне полотенце.

- Держись, Андрюшка, - сказала она, загадочно усмехаясь. - Яичница на столе.

- Это опасно? - спросил я.

- Не знаю. В крайнем случае позовешь на помощь.

Затем она сказала, что будет переодеваться, и пожелала мне удачи. Когда я вернулся в комнату, на столе в семейной сковородке шипела гигантская яичница из десятка яиц, не меньше. Наташа сидела на тахте, выставив острые голые колени, и с интересом ждала, что я буду делать. Драться так драться, подумал я и бодро вскричал:

- Вот это здорово!

- Вы просили побольше, - смиренно напомнила она.

Я уселся, придвинул сковороду и взялся за дело. Ударить лицом в грязь мне было никак нельзя. Впрочем, я действительно проголодался. Я ел неторопливо, время от времени со вкусом макал в масло кусочки хлеба и одобрительно мычал. Одновременно мы вели светский разговор о школе и о пионерских лагерях. Вошла Нина в легком белом платье и села напротив. Вот тут я на минуту остановился, заглядевшись на нее. Она была румяной от холодной воды, в растрепавшихся волосах дрожали радужные капли, и глаза у нее были блестящие и ясные. Я вдруг подумал, как я выгляжу сейчас - толстый седой дурак над огромной сковородой яичницы, грузный и красный, в безобразном костюме от магазина готового платья, с расстегнутым воротником и сбитым набок галстуком. Почему-то эта мысль совсем не задела меня.

Нина краем глаза покосилась на Наташу и незаметно подмигнула мне. Я вернулся к яичнице, кое-как разделался с нею и сказал в пространство-

- Отличная была яичница, в жизни такой не ел. А теперь хорошо бы сладкого чаю. Сладкого и покрепче.

Наташа взирала на меня с благоговейным ужасом. Нина фыркнула и закрылась ладонью. "Ну что ты, мама, право", - укоризненно прошептала Наташа, покраснела и пошла за чайником.

Чай мы пили все втроем. Я рассказывал им про Камчатку и Курильские острова, про вулканы и про японских браконьеров, про спрута в бассейне, про документы профессора Акасиды, про Хиду и его книги. Это был славный вечер, и мне давно не было так легко и уютно. Потом Нина поглядела на часы и строго сказала:

- Все, Наташка, пора спать.

- Мамочка! - воскликнула Наташа с негодованием.

- Никаких мамочек. Попрощайся с Андреем Сергеевичем и отправляйся.

- Мамочка, еще десять минут.

- Нет.

- Капельку!

- Погоди, Нина, - сказал я и извлек из кармана подарок Хиды. - Возьми, Наташенька. Это тебе за твою чудесную яичницу.

- Что это? - спросила она.

- А ты разверни и погляди.

Она развернула и заулыбалась.

- Ой, какое чудо, смотри, мамочка, - сказала она. - Спасибо большое, Андрей Сергеевич.

- Это японец тебе подарил? - спросила Нина.

- Да, я подарил ему бутылку водки, и он сказал, что будет угощать своих друзей. Ну а я угощаю своих.

- Большое спасибо, - сказала Наташа, - мамочка, смотри, какая хорошенькая.

- Очень хорошенькая, - согласилась Нина. - А теперь ступай.

- Иду, мамочка, ты же видишь, я уже иду. Спокойной ночи. Андрей Сергеевич, спокойной ночи. Приходите к нам еще есть яичницу.

- Наталья! - сердито сказала Нина.

- Непременно, - пообещал я вполне искренне.

Она поцеловала Нину, повернулась ко мне, сделала книксен, приподняв кончиками пальцев подол своего короткого сарафана, и удалилась. Чудная девчонка. И в ней, конечно, есть много от матери. Какая-то милая угловатая гибкость, не знаю, как это объяснить. Я отодвинул стакан и встал.

- Спасибо, Ниночка, - сказал я. - Тебе тоже пора спать. Всем пора спать.

- Да, - пожаловалась она, - я встаю рано.

Мы вышли в прихожую. Я пропустил ее вперед и плотно прикрыл дверь.

- Когда мы увидимся? - спросил я.

- Не знаю.

- Тогда я знаю. Мы увидимся завтра. Давай?

- Не получится, Андрюшенька. Завтра я со своими англичанками уезжаю в Минск.

- Ну вот! - Я расстроено поглядел на нее.

- Ничего, это всего на два-три дня. Пстой-ка...

Она подошла ко мне вплотную и стала поправлять мой галстук. Тогда я взял ее за плечи. Она вздохнула и опустила руки. Я поцеловал ее.

- Господи, - сказала она. - Господи, как давно это было.

Я поцеловал ее еще и еще раз.

- Не надо, - сказала она жалобно, - иди, пожалуйста. Иди, Андрюшка. Иди. Ну прошу тебя. Это же все было. Было. Было.

Глава десятая

Утром я позвонил в издательство и сказал Люсе, что буду не раньше среды. На моей совести было еще шестьдесят фотокопий, но заставить себя копаться в словарях оказалось после вчерашнего не так-то просто. Я лежал на диване, заложив руки за голову, глядел в белый потрескавшийся потолок и думал о Нине. Вернее, не думал, а видел и ощущал, какой она была вчера. Как она поднимала руки, чтобы поправить волосы. Как у нее дрожал подбородок, когда она старалась удержаться от смеха. Как стучали каблуки по асфальту. Как у нее напряглась спина под моей ладонью и как она закрыла глаза, когда я поцеловал ее в губы. И какие у нее были горячие губы, мягкие и сухие. Великое колдовство памяти о своей нежности. Так можно было пролежать и сто лет. Самое скверное то, что понемногу начинаешь жалеть самого себя. Я рывком поднялся и сел.

Развлечемся. Вот передо мной стеллаж. Это моя библиотека, семь некрашенных полок, набитых книгами. Строго говоря, это моя пятая библиотека. Одна осталась у Нины. На улице Алексея Толстого, на пятом этаже. Я привез из общежития два чемодана книг, книжного шкафа не было, и мы сложили книги в комод. Интересно, где они сейчас. Наверное, в Наташкиной комнате, в моей комнате. А первая моя библиотека погибла в Ленинграде в сорок первом году. В дом попала бомба. Сейчас на месте дома приличный скверик. Я в то время был под Одессой, и при контратаке у Сухого Лимана румын проломил мне нос прикладом. Огромный заросший румын в желтой шинели с тусклыми пуговицами. Его тут же приколол маленький черноглазый матрос с окровавленной головой. Матрос тогда крикнул: "Живем, салага!" Через минуту его убили.

Вторую библиотеку я бросил в Порт-Артуре. Это было в сорок седьмом году, я еще не умел читать по-японски и не надеялся когда-либо научиться. Я был глуп. Отличная была библиотека, раньше она принадлежала японскому коммерсанту. Ирина из медсанбата приходила, стояла у шкафа, водя пальцем по корешкам, и вздыхала. Она была коротенькая, полногрудая, в мелких кудряшках, и чувствительно пела под гитару низким звучным голосом. Третья библиотека осталась на улице Алексея Толстого. Четвертую я отдал Поронайскому дому культуры, когда в пятьдесят шестом году возвращался на материк. Оставил себе только японские книги, которые подарил мне капитан "Коньэй-мару". Две книги: томик Кикутикана и "Человек-тень" Эдогавы. Кто бы мог подумать, что у капитана такой вонючей галоши окажется Кикутикан?

На палубе "Коньэй-мару" было скользко и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой. Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. "Сэнтё, айда", - строго сказал он. К нам вылез капитан. Он был

старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах капитана были теплые носки с большим пальцем и гэта. Стуча гэта по палубе, капитан подошел к нам, сложил перед грудью руки и поклонился. “Спроси его, знает ли он, что находится в наших водах”, - сказал майор. Я спросил. Капитан ответил, что не знает “Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен”, - сказал майор. Я спросил. Капитан ответил, что знает, и губы его искривились, обнажив редкие желтые зубы. “Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду”, - сказал майор. Я перевел. Капитан часто закивал - или голова его затряслась. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. “Что он говорит?” - спросил майор. Насколько я понял, капитан просил отпустить его. Он говорил, что им нужна рыба и что они не смеют вернуться домой без рыбы. Он говорил на каком-то диалекте, вместо “ки” говорил “кси” и вместо “цу” говорил “ту”. Понять его было очень трудно.

Вон они стоят рядышком, Кикутикан и Эдогава, между томом Куникиды веером картонном чехле и выпуском “Фудзин корон” за август пятьдесят восьмого года. Пошлейший журнал, как и все женские журналы мира. Надо будет его выбросить или подарить Косте, там есть, кажется, фото японских балерин. Костя любит такие фото. Я тоже когда-то любил. А левее “Фудзин корон” стоит мрачный темно-зеленый “Военный японско-русский словарь” издания, по-моему, тридцать седьмого года. Его тоже надо будет выбросить. Вообще пора как следует почистить библиотеку. Это моя пятая, и шестой у меня уже не будет.

Вот, например, на третьей полке в углу имеет место целая выставка очень разнородных предметов, которым там совершенно нечего делать. Посмотрим. Две коробки библиотечных карточек, пыльные руины ленивой попытки создать японо-русский математический словарь. Еще одна коробка библиотечных карточек, исписанных французскими словами, следы увлечения французским языком. Это бывает даже с заскорузлыми пессимистами, этакий приступ рвения, когда человек набирает кучу интересных французских книжек, составляет солидный план занятий, покупает библиотечных карточек для слов, целый месяц в соответствии с планом зубрит слова в метро и в троллейбусах и уже приценивается к Мопассану в оригинале, но тут случается чей-то день рождения, и на другое утро человеку уже не хочется французского, а хочется только пить, а еще через день наступает праздник с двумя выходными, а затем оказывается, что французские книжки куда-то девались, карточки перепутаны, план потерян и вместе с ним всякая потребность в оригинальном Мопассане.

Позади коробки с французскими карточками стоит настольный психотермобарометр, изящный на вид прибор, непоколебимо показывающий “к ясной погоде”, плюс один градус и сто процентов. Мне подарили его друзья на день рождения, предварительно уронив в переполненном автобусе. Каждый раз, когда он попадает мне на глаза, я вспоминаю своих друзей. Это плохо, друзей надо помнить всегда - прекрасное правило, следовать которому также трудно, как и любому другому, столь же прекрасному. Рядом с прибором располагаются две пачки сигарет “Друг”, мраморный стакан для карандашей с пришедшей в негодность авторучкой и наполовину пустая пачка кукурузных хлопьев глазированных. Обособленно стоит пустой флакон из-под духов. Интересно, что может сказать такой набор предметов острому наблюдателю? Если учесть, что я пишу только карандашами или печатаю на машинке, терпеть не могу кукурузных хлопьев, курю только “Памир” и никогда не пользуюсь духами. Впрочем, я ни разу в жизни не встречал острого наблюдателя. Подозреваю, что это не столько объективная реальность, сколько литературный прием. Вроде выражения “в глазах ее вспыхнула нежность”.

Книги. Самые мои любимые книги - если не считать собраний сочинений - стоят на четвертой полке. Кстати, о классификации. Не знаю, почему мы любим одни книги и не любим другие, но представляю себе, по какому признаку квалифицированный читатель относит книги к отличным, средненьким или серым. Квалифицированные читатели это те, кто, во-первых, читает много, а во-вторых, любит перечитывать. Не надо считать квалифицированным читателем равнодушного листателя, трудолюбиво читающего все подряд, не запоминая, не вспоминая, не влюбляясь в книгу, или тупого фанатика, который всю жизнь перечитывает один-разъединственный пятый том полного собрания сочинений Шеллера-Михайлова. Интересно, почему именно Шеллер-Михайлов, я его в жизни не читал. Он ассоциируется у меня с семью слониками на полочке и с бездарными лубочными вышивками. Так вот, квалифицированный читатель делит книги на серые, средненькие и отличные. Отличные и есть любимые. У каждого они свои. Впрочем, и серые, и средненькие тоже.

Серую книгу, как правило, трудно или невозможно дочитать до конца. Для меня это “Семья Тибо”, почти все советские детективы, “Ому” превосходного писателя Мелвилла, “Лунная дорога”. Средненькая - это книга, которую прочитываешь с удовольствием, но перечитывать либо не тянет, либо тяжело. Примеры: большая часть советской и зарубежной фантастики, “Кобра под подушкой” Кима, “Учитель Гнус”, “Три товарища”, “Брат мой, враг мой”, историческая серия Конан-Дойля. А отличная, любимая книга - это книга, которую можно просмаковать хотя бы один раз, к которой непременно возвращаешься, по которой в самых неподходящих обстоятельствах вдруг начинаешь скучать, как по славному человеку.

Вот они, мои друзья и любимцы, слегка потрепанные, выстроились на полке безо всякой системы, некоторые, кажется, даже вверх ногами. Два черных с красным и серебром тома великого Хемингуэя. Я человек простодушный, больше всего люблю “Фиесту”, “Иметь”, “Трехдневную непогоду”. И жалею, что не удалось достать “За рекой в тени деревьев”. Настоящие ценители, вроде Пети Майского, меня презирают. Колосс Леонид Леонов, “Дорога на океан”. Изумительная, неисчерпаемая книга. И по-моему, Курилов - единственный в мировой литературе образ настоящего коммуниста-мечтателя, на которого смотришь с благоговейным восхищением, задрал голову и придерживая шапку. “В окопах Сталинграда” Виктора Некрасова, воениздатовское издание с отвратительными дубовыми иллюстрациями, ничего общего не имеющими с живой умной яростью этой отличной повести. Том Ростана. Наверное, если бы не Щепкина, половина прелести “Сирано” для нас, русских, безвозвратно пропала бы. Сологуб, “Мелкий бес”. Не возьму в толк, почему наши критические ослы так ополчились на него. Помимо всего прочего, это крепкое, сильнодействующее лекарство от обывательского запора. Перечитываешь с наслаждением и с тайной дрожью какой-то: господи, как хорошо, что я не такой, как славно, что у нас уже не так. “Признания авантюриста Феликса Круля”. Единственная книга Томаса Манна, которую я люблю. Вероятно, за поразительную, блистательно-бесстыдную откровенность. И еще за то, что она по-старинному, по-диккенсовски уютная. “Новеллы” Акутагавы. Акутагава писатель особенный, аналогий ему нет ни в Японии, ни во всем мире. Интересно, что старательный, нарочито дословный перевод Фельдман очень идет ему. Так и кажется, будто японцы должны воспринимать оригинал так же, как мы воспринимаем этот на первый взгляд неуклюжий, спотыкающийся перевод. “Швейк”, “Человеческая комедия” Вильяма Саро-яна, Честертон, Бёльль, “Мост” Грегора. Сюда бы еще “Вернера Хольта”, но он располагается полкой ниже, выдранный из номеров “Иностранной литературы” и заключенный в картонную корку от “Нового мира”, рядом со “Счастливым Джимом”, “Над пропастью во ржи” и Дудинцевым. Грэм Грин. Трилогия Яна. Л ем. У меня только “Астронавты” и “Магелланово облако”. Когда и если выйдет отдельным изданием “Солярис”, я их выкину. А пока пусть стоят, представляют в

моей пятой и последней библиотеке любезного сердцу моему пана Станислава. “Повести древних лет” Валентина Иванова. Опоздал купить “Русь изначальную”. Олеша. Бабель. Солнечный и интеллигентный Бабель. Говорят, он работал до последней минуты. Ему повезло, начальник тюрьмы оказался его почитателем и разрешил работать в своем садике. Бабель так и умер под синим небом за дощатым столом, уронив голову на незаконченную рукопись. “Туманность Андромеды” и “Великая Дуга”. “Туманность” с дарственной надписью автора. Он меня, наверное, забыл, но я - то его хорошо помню. Огромный, видимо страшной физической силы человек в старом морском кителе и шлепанцах, с бледными твердыми глазами навывкат и щетинистыми серыми усиками. Это один из самых умных и добрых людей, кого я знаю, и я его люблю, за книги и его самого, да и нельзя его не любить, слишком в нем много того, что всегда хочется видеть в людях. За Ефремовым стоят два комплекта Уэллса, молодогвардейский и гослитиздатовский. И ни в одном нет отличной утопии “Люди как боги”. “Три мушкетера”, вечная книга, которую будут читать, пока на Земле нужны радость жизни, честь и храбрость. Стейнбек, “Зима тревоги нашей”, будто в пару к “Мелкому бесу”. Надо будет поставить их рядом. Трехтомник Чехова с зелеными корешками. Всё.

Всё. Я уперся ладонями в край дивана, чтобы встать, но нечаянно взглянул вверх, на седьмую полку, и остался сидеть. Седьмая полка - это усыпальница моих увлечений математическими науками. Серьезные были увлечения, и я до сих пор не уверен, что отделался от них навсегда. Вот, например, “Совершенный стратег”, он же “Букварь по теории стратегических игр” Дж.Д.Вильямса, книга умная и веселая. К сожалению, она попала ко мне слишком поздно, и я так и не дочитал ее. Но я знаю, что рано или поздно я снова доберусь до нее, дочитаю и перечитаю. Рядом с “Совершенным стратегом” стоит “Курс высшей математики” Смирнова, том четвертый, а всего томов шесть. Наверное, Смирнов - последний энциклопедист в математике. Людей, которые бы знали всю математику, больше не будет. Времена энциклопедистов проходят безвозвратно, и люди, которые считают, что в будущем ученый совместит в себе кучу разнообразных специальностей, просто не понимают, что говорят. Они размахивают кибернетикой и прочими стыковыми науками и совершенно забывают, что для практической работы в таких науках совершенно не надо быть энциклопедистом. Облупленный плотный том издания одна тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года. Барон Вега, “Десятизначные математические таблицы”. Гигантский научный подвиг. Тридцать лет однообразной вычислительной работы, тридцать лет утомительнейшей возни с цифрами. Кажется, Вега - самый трудолюбивый барон в истории человечества. В наше время эту работу проделала бы за месяц небольшая счетная машина типа “Минск-2”. Может быть, когда-нибудь люди будут так же неохотно восхищаться подвигом Льва Толстого.

“Введение в статистическую физику” Левича. Мне нравится эта наука, построенная на незнании. Чем меньше мы знаем, тем больше можем сказать - любопытный парадокс всех наук, связанных со статистикой и с теорией вероятностей. Нежно люблю теорию вероятностей, но не люблю книгу Левича, потому, наверное, что она не ответила на мои очень частные вопросы. Несправедливо, но неприязнь всегда несправедлива, так же как любовь всегда права. “Курс теории вероятностей” Гнеденко. Эту книгу следует протудировать всякому, кто интересуется стохастическими процессами хотя бы в применении к преферансу. У меня всегда была тайная мечта открыть что-нибудь с помощью теории вероятностей. Я применял ее, чтобы получить оптимальную стратегию игры в “девятый вал”, чтобы рассчитать вероятность проигрыша мизера при игре без семерки и на чужом ходу, чтобы выяснить вероятность посещения нашей планеты инопланетными пришельцами и даже чтобы найти вероятность счастливого троллейбусного билета. Мне удалось вывести несколько формул, изящных и никому не нужных. Я восторгался, исследуя различные карточные игры, выдуманные, наверное,

задолго до теории вероятностей и тем не менее построенные так, будто авторами их были Гаусс или Колмогоров - изящно, непротиворечиво и рационально. И я нашел вероятность счастливого билета. Она равна примерно шестидесяти процентам, то есть на каждые сто билетов приходится в среднем шесть счастливых. Представления не имею, кому это может понадобиться в практических целях...

Я все-таки встал, вышел в коридор к телефону и набрал номер Нины. Никто не отозвался. Я сел за стол и посмотрел на стопку фотокопий. Еще шестьдесят штук. Гигантский осьминог профессора Акасиды мокнул в нашем бассейне и томился ожиданием. Он жрал убиенных собачек и тухлую рыбу от щедрот горторга, для гадости обливал людей водой и сепией и нетерпеливо ждал, когда я разрешу наконец его сексуальные и прочие проблемы. Мой долг, ничего не поделаешь. Вот кстати, как сказал бы товарищ Полухин.

К вечеру следующего дня я обработал еще сорок фотокопий и сделал восемь выписок. На этот раз материалы были очень интересные. Безымянные авторы и авторы, от которых остались только имена, равнодушно сообщали о странных и неправдоподобных событиях. И приходилось им верить, ибо явственно чувствовалось, что они всего-навсего старательные регистраторы, не способные вложить в свою писанину ни капли воображения. Тоже мне летописцы. Виделся в полутемной канцелярии просвещенного кугэ этакий убогий писаришка, по совместительству прохвост, вымазанный тушью и изнуренный бамбуковыми палками, страстно и безнадежно мечтающий о рисовых колобках. Как он, глотая слюни, добросовестно записывает: "В тринадцатый день пятого месяца самурай по имени Гои с прошением удостоился светлейшей аудиенции, и его светлости благоугодно было назначить самураю по имени Гои по его прошению годовое содержание в пять коку риса". Чудо ему воспринимать нечем, бедняге, у него только бездонный желудок и кроличьи половые органы. Знаю я эту породу.

Я положил карандаш и потянулся. Хорошо потянуться после работы. Ныла спина, сильно горели веки. Стемнело, но я без труда уверил себя, что еще достаточно рано. Я вышел к телефону, набрал номер Нины и долго слушал длинные гудки. Потом трубку взяла Наташа.

- Вас слушают, - строго сказала она.

- Здравствуй, - сказал я. - Мама не приехала?

- Нет. Кто это говорит?

- Андрей Сергеевич.

- Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Она завтра придет. Она сегодня звонила из Минска и сказала, что придет завтра. Ей передать что-нибудь?

- Передай привет, дружок.

- Обязательно. Вы к нам придете?

Я задержал дыхание.

- Приду.

- Понимаете, Андрей Сергеевич, у меня к вам большущая просьба.

- Какая?

- Вы еще пойдете смотреть на осьминога?

- На осьминога? Возможно, пойду.

Голос ее стал вкрадчивым и проникновенным.

- Андрей Сергеевич, возьмите меня с собой. Можно?

- Почему же нет?

- Меня пустят?

- Со мной пустят.

- Понимаете, мне очень хочется посмотреть.

- Понимаю, кнопка.

- Что вы говорите?

- Понимаю.

- А если меня не пустят?

- Пустят. Пусть попробуют не пустить, я им тогда переводы не отдам.

- Это мысль. Когда мы пойдем? Завтра?

- Нет, у меня еще не все готово. Да я тебе позвоню.

Было слышно, как кто-то хрипло кричит о любви.

- Ты что сейчас делаешь?

- Я? Телевизор смотрю.

- Детям до шестнадцати?

- Ничего подобного. “Последние залпы”, я уже два раза видела. Ничего там такого нет.

- Ну, ладно, смотри свои “Залпы”. До свидания.

- Я буду ждать, Андрей Сергеевич!

Я повесил трубку и отправился стелить постель. Я стелил и думал: все хорошо, и Наташка хорошо, и завтра придет Нина, и я прямо все скажу ей, я скажу, хватит с меня всех этих глупостей и страхов, хватит, а сейчас надо спать, спать, а то я устал, хуже чем собака, хорошо бы выпить кофе, но если выпить кофе, то не уснешь, и вообще лень ставить чайник, и, вообще, есть у меня нечего, а бежать в гастроном - страшно подумать, да и есть

не хочется, потому что жарко и слипаются глаза. Я постелил постель и стал раздеваться, но тут сосед позвал меня к телефону. Звонил Костя Синенко.

- Андрей, - сказал он. Он был трезв и угрюм. - Ты когда будешь в издательстве?

- Завтра. В чем дело?

- Приходи обязательно. У нас очень плохо.

- Что случилось?

Он помолчал.

- Очень плохо, - повторил он. - Скорей приходи. Очень плохо. Ты сам увидишь. Пока.

(Здесь текст авторской рукописи обрывается.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

КРАКЕН

План сюжета раннего варианта повести

ЧАСТЬ I

Гл. 1

Интродукция: история взятия самурайского меча.

Андрей Сергеевич Головин, переводчик-японист, 37 лет, у себя дома. Заходит Петя Синенко, сосед по квартире, молодой рабочий, приносит два письма и фотоаппарат. Хвастает аппаратом. Андрей нюхает его и приходит в восторг. Читает письма: одно - с договорами из Издательства, другое от Марецкого, с приглашением обмыть получение свидетельства на изобретение. Петя восхищается мечом, висящим над диваном, делает выпады и упражнения. Беседа Андрея с ним - о народе и о простых людях. Андрей одевается и идет в Издательство - отнести подписанные договоры. В редакции у Семена Федоровича Хейфица, старого товарища Головина по институту и армии, сидит разъяренная дама - мамаша какого-то переводчика, рукопись которого отвергли. Она одолевает Хейфица. Андрей слушает и потешается. Когда мамаша уходит, Андрей отдает Хейфицу договоры, они немного беседуют. Хейфиц кричит, что больше не может здесь, все надоело, хочется работать, а не возиться с бездарями. Но уйти из Издательства он боится - семья, двое детей. "А вдруг сократят гонорары? А вдруг я кому-нибудь не понравлюсь, и мне не дадут переводы?" Андрей прощается и уходит.

Гл. 2.

Интродукция: 37-й год, школьные годы Андрея. Суматоха из-за фашистских знаков на пионерских галстуках, в актовом зале директор убеждает, что никаких знаков нет. Виктор рассказывает о профиле Троцкого на спичечном коробке и о том, что у них арестовали соседа.

Андрей покупает вино, сласти, идет к Марецким. Марецкие - Виктор Григорьевич, научный работник, кибернетист, и Юля, его жена, однолетки и школьные друзья Андрея. Юля работает инженером “Нефтьпроекта”, с помощью Виктора занимается изобретательством в области автоматизации добычи нефти. Когда Андрей приходит, Юля возится на кухне, а Виктор крутит магнитофон с Питером Сигером. Стол накрыт, Андрей немедленно запускает пальцы в ветчину. Виктор начинает рассказывать про Кракена, но тут приходит Нина Владимировна Сойкина, переводчик Интуриста, 35 лет, мать-одиночка по убеждению. Андрея с нею знакомят. Садятся за стол, пьют, хохмят, танцуют. Спор об информации - нужна ли она, какой она должна быть, довод о летающем блюде, севшем на площади Дзержинского. Виктор выдвигает свои положения о неспособности человеческих организаций управлять миром, возлагает свои упования на машины. Снова вспоминает про Кракена, пытается рассказать, но слишком пьян, ничего у него не получается. Андрей активно интересуется Ниной. Они собираются уходить. На прощание он дает Юле свой номер телефона, который только что поставили у них в квартире. Они с Ниной выходят, Андрей ввязывается в какой-то пьяный спор на улице, Нина тем временем удирает на такси.

Гл. 3.

Интродукция: 44-й год. Андрей только что с фронта, его принимают в институт иностранных языков. “Какой хотите язык изучать? Английский? Ну так пошлите его на японский, там он и английский выучит”. Тут же рядом другого абитуриента допрашивают, чувствует ли он себя евреем.

С утра Андрей приступает к переводу “Пионового фонаря”. Чувство тревожного наслаждения перед началом большой работы. Он ходит крадучись около стола с машинкой и потирает руки. Описание начала работы. Разного рода трудности, интересные места. Здесь дать понять, что у работника интеллектуального труда ненормированный рабочий день, он работает до пупковой грыжи. Звонок Виктора. Виктор стажировался в Институте беспозвоночных, создает модели нервной системы головоногих. Виктор просит Андрея срочно явиться в Институт к директору. Андрей, чертыхаясь, идет. В кабинете директора его встречает Виктор и сам директор, Борис Михайлович Полухин, того типа, что восторженно трепещут перед иностранцами. Полухин рассказывает Андрею о том, что японцы подарили Институту Кракена в благодарность за спасение их корабля в позапрошлом году, самое крупное головоногое из дошедших до человека живьем Кракен помещен в специальном бассейне в подвалах Института. Но, кроме того, японцы подарили Институту старинные книги, в которых изложены многочисленные любопытные случаи столкновения островитян с гигантскими головоногими от времен “Кодзики” до Токугавской эпохи. И Полухин очень просит товарища Головина если не перевести, то, во всяком случае, проаннотировать эти книги. Андрей просматривает книги и содрогается - это все ксилографии, старинная полускоропись, правда, с многочисленными иллюстрациями. Хочет отказаться, но Виктор ему отчаянно подмигивает. Тогда он соглашается и просит разрешения взглянуть на Кракена. Полухин в панике, но делать нечего - разрешает. Андрей и Виктор спускаются в подвал. Сторож подвального бассейна, пьяненький дядя Сидор, впускает их. Андрей перегибается через край бассейна и видит чудовище.

ЧАСТЬ II

Гл. 4.

Интродукция: притча о пленном немце, которому студенты дали покурить.

Сразу взяться за рассмотрение японских книг Андрею не удалось, т.к. в тот же день ему позвонили из Иностранной комиссии ССП и сообщили, что с ним хочет повидаться японский писатель, автор романа “Один в пустоте”, который Андрей перевел. Вечером Андрей, чертыхаясь, поехал в отель. Разговор с японцем. Он был офицером Квантунской армии, попал в плен. О японских писателях - Абэ Кобо, Эндо Сюсаку, о сущности и задачах литературы, о том, для чего читают литературу. Японец недвусмысленно дает понять, что не прочь был бы, если бы Андрей перевел его новую книгу. Андрей в туманных выражениях сообщает, что это не исключено. Обмен подарками - японец дарит куклу и авторучку, Андрей - бутылку юбилейной водки в оригинальной упаковке. Попрощавшись, Андрей спускается в ресторан с намерением отужинать. Сталкивается с Ниной, которая только что проводила по номерам своих подопечных англичан. Нина приглашает к себе на чаек. Идут пешком, Нина рассказывает об иностранцах. Дома пьют чай и мирно беседуют, когда возвращается дочь Нины, Наташа, девочка лет пятнадцати Знакомятся, она тоже садится к столу и разглядывает Андрея с холодным и враждебным любопытством. Видимо, ей до смерти надоели мамины поклонники, но Андрей отличается от них- он громаден, толст, красен, в расстегнутом пиджаке и растерзанном галстуке, иногда зеваает, и вместе с тем добр, смешон и хорош. Андрей рассказывает про Кракена, тут Наташа совсем оживляется и просит, нельзя ли и ей поглядеть. Андрей благосклонно предлагает на днях позвонить. Затем он встает, одевается, дарит Наташе японскую куклу и уходит. Дома он перед сном снова просматривает японские материалы. Оказывается, среди них есть “Суйко-коряку”, о котором упоминал Акутагава. Синим карандашом отчеркнуты места, относящиеся к спрутам. В одной из книг Андрей обнаруживает несколько листков почтовой бумаги с набросками какого-то “обозаки” - памятной записки. В скорописном тексте мелькает слово “Конъэй-мару”, название корабля, поймавшего Кракена. Андрей откладывает листки в сторону и ложится спать.

Гл. 5.

Интродукция: поход на горячее озеро на Парамушире, эпизод с приятелем, севшим голым гузном на горячий ключ, легенда о дочери начальника политотдела, сварившейся в озере заживо.

Неделю спустя. Андрей с красными от бессонницы глазами печатает перевод из японских книг. Выдержки. Придумать два-три определения спрутов пострашнее. Пяток легенд-преданий о спрутах. Как спрут опрокинул корабль с чиновником “бакуфу”, ехавшим за сбором податей в южные провинции Как садумские самураи подружились со спрутами и использовали их в войне против княжества Тёсю. Как старый рыбак на острове Ёкомэдзима приручил гигантского спрута и даже заставлял его выходить на берег. Как спруты держали в плену десяток рыбаков и по очереди съедали их. Как спруты держали в осаде Котиковые острова. Звонит Наташа, напоминает об обещании показать Кракена. Андрей приглашает ее к себе и звонит Виктору в Институт. Виктор не очень доволен, но поскольку перевод закончен и будет принесен, разрешает привести девчонку. В коридор выходит Петя, просит десятку взаймы. Андрей дает. Петя неостроумно шутит, что интеллигентам лучше платят, у них всегда деньги есть. Андрей взрывается: “Ты, лоботряс, каждый день после работы по танцулькам шляешься, а я два часа в сутки сплю!” Петя ошарашен и удручен. Андрей возвращается к себе за машинку. Приходит Наташа, он дает ей пачку японских киножурналов и просит подождать. Кончив печатать, собирает бумагу и книги. Наташа спрашивает, откуда у него меч. “Приятель подарил”, - отвечает Андрей. В Институте их встречает очень озабоченный и усталый Виктор. На вопросы Андрея отмахивается. Они идут к Полухину, Андрей передает все и рассказывает суть. Полухин благодарит, обещает оплатить работу в ближайшую неделю и шутит о том, что Виктор теперь дни и ночи проводит в подвале и видимо мечтает расчленив Кракена, чтобы

посмотреть на его нервную систему. Виктор криво усмехается. Они прощаются с директором и спускаются с Наташей в подвал. Дядя Сидор, как всегда пьяный, кормит Кракена. Кракен обдаёт его сепией. Зрелище. Наташа в ужасе. Виктор, бледный и злой, не отрываясь, глядит на Кракена. Андрей не понимает, в чем дело. Дядя Сидор, вымазанный и дурно пахнущий, косноязычно бормочет: “Хитрый, стерва, все понимает... Вылезает, и ну бродить...” Виктор сквозь стиснутые зубы: “Император... Архитойтис Рекс...”

Гл. 6.

Интродукция: первый внешкольный вечерок, встреча нового, 41-го года, Андрей ухаживает за Юлей.

Они выходят из Института. Сумерки. Шумная улица. Наташа прощается и уходит. Андрей и Виктор медленно идут по скверу. Сначала молчат, затем Виктор вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать все о головоногих. Андрей слушает, недоумевает. О необычайной экономичности организма, о неограниченном росте мозга, о гигантском долголетии, за которое спрут может последовательно переходить из одного вида в другой. Затем раздраженно говорит о скептиках, о людях, мешающих узнавать новые факты. О понятии факта. Так они идут и наконец останавливаются у парадного Викторова дома. Играют в сумерках ребятишки, сидят пенсионеры, кто-то играет в пинг-понг. Виктор вдруг торопливо рассказывает о том, как вчера к Кракену подсадили самку, он ее оплодотворил и тут же убил. Андрея это мало задело, но Виктор объяснил, что ни одна тварь на земле так не поступает. Самки убивают самцов у пауков, но наоборот никогда не бывает. И не сожрал, а просто убил. Затем он объявляет, что хочет спать, и уходит. Андрей возвращается к себе. Хотел было поработать над “Пионовым фонарем”, но сон сморил. Снится Кракен, который собирается убить Нину, беременную от него, Андрея.

ЧАСТЬ III

Гл. 7.

Интродукция: Ребята говорили, что она страстно мечтала выйти за китайца. Она влюбилась в актера, игравшего Ху Бэй-фына. Каждый раз, ложась с нею в постель, он должен был надевать пластическую маску, которую носил на сцене.

Спустя неделю. Андрей работает над “Пионовым фонарем”. Вдруг приходит Виктор. Мешать не стал, поиграл мечом, завалился на диван, проглядел несколько книжек Колдуэлла. Взял “Вопросы литературы”, перелистал и вслух сказал, что все это дерьмо и никому не нужно. Андрей осведомляется, какие черти его мучают. Виктор рассказывает о тете Дусе с четырьмя детьми, которая работает на кожевенном заводе и каждый вечер, вернувшись, отмачивает руки в теплой воде и плачет, разговаривая о ценах на картошку, и о профессорах-литературоведах в шубах и высоких боярских шапках, десятки лет обсуждающих, как нужно понимать социалистический реализм. Вообще все гуманитарные науки - дерьмо. И возникли-то они от праздности, и вообще они аппендикс на теле человеческой культуры. Начинается спор. Здесь надо подобрать вескую и умную аргументацию для обеих сторон. Идея такая: отказ от гуманитарных исследований - значит подчинение знания требованиям желудка. Андрей требует бесконечного развития абстрактной мысли, бесконечного развития способности чувствовать прекрасное. По его мнению, после установления коммунизма очень скоро прогресс за счет развития средств производства прекратится. В основу прогресса ляжет бесконечное духовное развитие, нужно только избавиться от забот о материальном обеспечении, а там материальные потребности людей быстро сократятся. Уже сейчас большинство интеллектуальных

людей сильно сократили свои потребности, во всяком случае, им в голову не приходит торговать валютой или спекулировать, или отхватывать приусадебные участки. По мнению Виктора, человечество должно как можно скорее избавиться от страшной обузы интеллекта - от эмоциональной стороны его. Предельная рационалистичность, служение чистому знанию. Андрей возражает, что это был бы апофеоз мещанства, люди никогда не сделаются машинами. Виктор замечает, что если бы человек жил достаточно долго, он бы неизбежно избавлялся от дурацкой чувствительности и занимался бы исключительно делом. Да каким же делом? Добыванием знаний. А не поисками средств так называемого художественного воздействия на духовную сторону натуры. И в порядке последнего аргумента Виктор объявляет, что природа уже знает такой разум: это Кракен. С мрачным восторгом описывает он этих чудовищ, которые столетиями растут в океанских безднах, накапливая колоссальный опыт в своем непрерывно растущем мозгу, далекие от духовных потрясений, всегда знающие, чего им надо, беспощадные охотники и холодные рационалисты, живущие индивидуально и без социальной организации, без принуждения, никогда не ошибающиеся, руководствующиеся в жизни немногими рациональными принципами. Их не беспокоит тоска по несбыточному, они философски принимают смерть, и они при всем том способны уловить возможную угрозу сверху - наблюдая батискафы и ощущая удары атомных бомб. И возможно, они воспротивятся вторжению человека, и будут правы... Андрей и Виктор расстаются, не очень довольные друг другом. Оставшись один, Андрей вспоминает, что у Теннисона что-то есть на этот счет. Он достает томик и перечитывает тот самый стих. Он испытывает раздражение от глупости и ограниченности “прагматиков”, как он называет “физиков”. Он удивлен, как такие умные ребята, как Виктор, не видят страшной угрозы омещания человечества. Ведь дух - это единственное, что отделяет человека от животного. Так он размышляет, когда Петя стучит к нему и сообщает, что его спрашивает какая-то дама. Это пришла Нина. Она спокойна, ласкова и самоуверенна. “Будем ужинать, - говорит она. - Я остаюсь у тебя”.

Гл. 8.

Интродукция: как разбился самолет на Шумшу и как искали трупы, чтобы наполнить девятнадцать гробов.

Андрей встает рано утром, Нина еще спит. Он тихонько садится к столу с мыслью поработать и случайно находит под бумагами листки с японской скорописью, которые забыл вернуть Полухину. Он читает. Это памятная записка капитана “Конъэй-мару”, как был пойман Кракен. Оказывается, накануне удрал из неплотно запертого ящика крупный экземпляр спрута, а на следующий день, едва забросили трал, как в него заполз Кракен. И Кракен не сопротивлялся, он спокойно дал себя вывалить в трюмный бассейн и тут же принялся за еду. Андрей думает и сопоставляет со словами Виктора, с бормотанием дяди Сидора. Просыпается Нина. Андрей предлагает ей выйти за него замуж. Она, смеясь, отказывается, одевается и уходит. Андрей весь день валяется на диване, погруженный в размышления, а вечером, захватив с собой самурайский меч, идет в Институт. Там он спускается в подвал и прячется за ящиками, так что дядя Сидор запирает его с Кракеном. Ночь, тьма. Кракен выползает из бассейна, таскается по подвалу. Начинается игра в кошки-мышки. В суматохе Андрей роняет меч и думает уже, что погиб, но Кракен, нагавив кругом сепией, возвращается в бассейн. Скоро рассвет. Приходит дядя Сидор, ругает ругательски Кракена и принимается за уборку. Андрей оглушен, отравлен ядом чудовища. Ему удается незаметно выскользнуть из Института, и он, пошатываясь, бродит по пробуждающемуся городу.

Гл.9.

Интродукция: как я убил политрука, которого схватили эсэсовцы.

Днем Андрей снова приходит в Институт. Он слоняется по коридорам, перекусывает в буфете, наконец решается и спускается в подвал. Там сотрудник в белом халате демонстрирует Кракена делегации биологов из Океанологического института. Кракен безучастно лежит на дне бассейна, как куча маслянистых тряпок. Делегация уходит. Дядя Сидор, что-то бормоча по обыкновению, замшелый и сгорбленный, сидит в углу и чинит метлу. Андрей нагибается над бассейном. Разговор с Кракеном, Это, конечно, бред, просто ответы Андрея на собственные смятенные мысли. Кракен с торжеством объявляет, что мещанство, ограниченность, отсутствие стремлений всегда восторжествуют, что все усилия так называемых мыслящих интеллигентных людей в конечном итоге служат лишь для мещан. Чувствуя, что это бред, Андрей трясет головой. И тогда Кракен выбрасывает к его ногам самурайский меч, потерянный ночью. И выворачивается наизнанку бесстыдным похабным образом, как он это делал и раньше, облив кого-либо сепией - Андрей всегда принимал это за смех. Андрей взял багор, с которого дядя Сидор обычно кормил Кракена, привязал к концу обнаженный меч и со всего размаха воткнул острие между глаз чудовища.

Б.Стругацкий

Библиотека сайта «Вселенная Братьев Стругацких» - strugatskie.com